

Алексей ЛИВАНОВ

г. Петрозаводск



Я сидел на замшелом валуне и слушал внятную, очень разборчивую, но непереводимую на человеческий язык речь легко набегающих волн.

В начале было Слово. Это аллегория? Литературная завитушка? Или научно-философское понимание устройства Мира?

Хромосома — это Слово? Ну, может быть, Буковка? И тогда я сам хотя бы Слог?

Ну да, ну да — Слог! Туда же, со свиным рылом. Не Слог, а нечленораздельное мычание — повторение одного и того же Звука.

И Слово было Бог. Это — информационное поле, опоясывающее всю Землю, а может быть, и всю Вселенную? Когда говорят, что ни один волос не упадёт с моей головы без ведома Бога, это и есть **Инфополе — Хромосома — Слово — Бог?**

Нет ничего тайного, что не стало бы явным, — сказал евангелист Марк. И это ещё одно подтверждение на высшем уровне нашей неосознаваемой связи с Инфополем. Если вся материя обладает информацией (а как же иначе? без информации не существовало бы тел), то всё, накопленное мной за длинные годы хорошее и плохое, становится всеобщим достоянием. Или Божьим прочтением. Или Страшным Судом.

Однажды, на заре туманной юности, пожилая цыганка нагадала мне верную жену через три года, сына и даже сколько-то, не помню, внуков. Я отчаянно смеялся и дал ей рубль. Советский. А это — четыре кружки пива. И спросил, когда умру. Укоризненно покачала головой цыганка и ушла. И ведь всё сбылось едва не по минутам.

Уж если тёмная женщина по линиям руки смогла прочесть хоть часть моей судьбы, то что можно вывести у клетки дизорибонуклеиновой кислоты?

Я не ясновидящий, не мистик, не хиромант, не телепат и даже не теолог и не демонолог, но мне очень хочется на излёте дней соприкоснуться со Словом, невидимым проводом соединиться со Всеобщим Информационным Полем. Зачем? Не могу точно сформулировать. Мысль изреченная есть ложь. Не Слово, а слово. Может быть, хочу увидеть себя До и После. Мы почему-то зада-

СПЕЦУХА

ХРОНИКА ВНЕКЛАСНЫХ СОБЫТИЙ

2003, май

ёмся вопросом, что будет После, и никогда не спрашиваем, что было До. И вообще, хочу быть причастным, когда на Земле уже не причастен.

Час зачатья я помню не точно. Я совсем его не помню. Вероятно, это произошло в конце марта 1952 года. Буква сперматозоида встретилась с Буквой яйцеклетки. Получился слог. Или Слог? Во всяком случае, не слоган.

Не знаю, зачат был в страсти или без оной? Возможно, в пока ещё любви. Позже, к годам раскрытых глаз, она у родителей пройдет. А ведь была.

Я был у них третьим ребёнком и первым выжившим.

Я был выстрадан.

Когда человек начинает помнить себя? Среднестатистический? А я как раз из средних. Иногда мне кажется, что я помню доисторические времена. Вернее, помнил в самом раннем детстве. До трёх лет я болел. До трёх лет мама не знала, выжили ли я. Или её роль — рожать для смерти?

По теперешнему опыту я почти уверен, что новорождённый ещё связан с Инфополем. У него осмысленный мудрый взгляд. Он знает больше, чем роженица. А потом эта связь почему-то теряется. И ребёнку нужно научиться говорить. В первые минуты своего существования он общается телепатически. Возможно, через какое-то, даже не очень большое время связь сохранится навсегда. Так, вероятно, общается вся фауна. Журавлям не нужно прокладывать на картах свой маршрут на север. Инфополе ведёт их. Сёмги и угри добираются к своим нерестилищам не при помощи какого-то инстинкта — инфополе. Оно же предупреждает животных о природных катаклизмах.

Так вот, о доисторической памяти. Я помню детские болезненно-бредовые картинки. На них были дикие, почти непроходимые леса и динозавры. И мамонты. И ещё какие-то чудовища. Иногда и сейчас эти видения являются мне.

Вероятно, в жизни каждого человека случаются эпизоды, которые он уже когда-то пережил, поступки, уже свершённые в стародавние времена. Это оттуда — из вековой Памяти.

НЮрия складывалось на заре туманной юности у Юрия Викентьевича Диванова. Он мог попытаться счастья и в МГУ среди корифеев советской исторической науки — серебряная медаль, — но мать, Анна Ивановна, прихварывала, досмотреть её было некому, и Юра решил, что наука — и в провинциальном педике наука.

Несколько деталей отличали его от сокурсников: на исторический он поступил не потому, что более некуда, а по призыву ума и души; не попал в аспирантуру исключительно оттого, что труд его, опубликованный в сомнительном журнальчике, шел вразрез со всеми общепринятыми понятиями и нормами; возглавлял сельский педагогический коллектив один учебный год, по завершении которого был призван в доблестные ряды Советской Армии на положенный законом незначительный срок.

В любимый город Юра вернулся с железным намерением никогда не переступать порог какой-либо школы в качестве учителя или иного качества, а посвятить себя целиком научной работе.

Но. Человек предполагает, а Бог располагает. Три года промурывшись то кочегаром, то грузчиком, то дворником, настучавшись до мозолей в двери и провинциальных, и столичных научных учреждений, изведя тысячи листов все терпящей бумаги и вычитав с полсотни нелюбимых рецензий и отзывов, Юрий понял, что глухой стены в три кирпича ему своей не совсем-таки чугунной головой не расшибить и надо в жизни что-то менять. Не век же перетаскиваться с котельной на склад.

И он направился в гороно.

На дворе стоял стагнационный 1978 год. Впрочем, какой застой? Страна натягивала струны БАМа, в основном силами татуированных комсомольцев, успешно обменивалась нотами-страшилками с китайским руководством, в Ташкенте досрочно сдали подземку, а в Москве готовились к Олимпиаде и под одеялом почитывали «Хронику текущих событий».

В школах города вакансий не было. Ехать в деревню? Да ни за какие награды!

— А не хотите ли попробовать себя на поприще воспитателя? — спросили в гороно. — А мы вас

поставим в очередь и при первой возможности дадим уроки.

Так Юра (Юрок, Юрчик) оборотился на всю оставшуюся жизнь в Юрия Викентьевича, а его местом работы, его крестом стала специальная школа-интернат № 88 для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания.

Теперь за окном 2003 год. За минувшие двадцать пять лет школа многожды реформировалась и нынче прозывалась школой-интернатом для детей с девиантным поведением. Хорошо не лицеем или гимназией.

У Юрия Викентьевича все переменялось. В отличие от прежнего, полного надежд, первобытного, как он говорил, времени, Диванов и на работу шел, как отбывать барщину, и возвращался домой с большой неохотой. Где и в чем произошел сбой, он не задумывался, но навскидку, не углубляясь в суть проблемы, было ясно — везде. И в нем самом, и в окружающем добром и нежном мире.

Юрий Викентьевич радостно вздохнул, услышав звонок, завершающий рабочий день, потом вспомнил, что он сегодня дежурный учитель, и радость притухла.

— Что повскакивали? — прикрикнул на оживившийся класс. — Звонок для учителя. Ваня, собери тетради и ручки, а Игорь — учебники.

Теперь — осмотреть столы: нет ли на них надписей и рисунков, порочащих высокую честь учителя и школы.

— Юрий Викентьевич! — крикнул Ваня. — У Тарасова ручка сломана.

— Мой юный друг, — Диванов потрепал голову воспитанника, — чтобы к следующему уроку ручка была. Намек понял?

Тарасов обреченно кивнул головой. А где он достанет? Крысить надо. И у тех, кто ниже его. А ниже Тарасова в школе никого не было. Или почти никого. Значит — у воспитателя.

Когда Юрий Викентьевич спустился в гулкий вестибюль, школа уже выстроилась в две более, но скорее менее стройных шеренги и слушала наставления заместителя директора по режиму содержания воспитанников (в обиходе — замполрежа) Брыкина Владимира Николаевича.

Подполковник в отставке, даже в гражданской одежде он выглядел строевым. Командовал хорошо поставленным голосом. Как на плацу. Но

Владимир Николаевич никогда никем не командовал. Тем более на плацу. Служба его протекала в кабинетах КГБ, откуда он был вытеснен многочисленными реформами в середине девяностых. При случае и без случая Брыкин обиженно удивлялся перевертышам последних лет: он, не последний в Системе, вдруг оказался не у дел на паскудной должности в паскуднейшей же школе, тогда как большинство его сослуживцев удачно пристроились кто на таможне, кто в налоговой, кто в частных охранных фирмах, кто еще где вполне комфортно, хоть и чуть-чуть криминально. Казалось, Владимир Николаевич тоже отыскал уютное и денежное местечко начальника службы безопасности успешной финансовой пирамиды, но это сооружение оказалось менее долговечным, чем египетские соборы, и Брыкин лишился не только должности, но и вложенных в свою фирму денег.

— Школа, смирно! Слушай приказ директора школы! По итогам недели объявить благодарность за хорошую учебу и примерное поведение... Объявить выговор за самовольную отлучку... за обоюдную драку... за кражу из столовой... Лишить увольнений за грубость по отношению к взрослым... Объявить строгий выговор с занесением в личное дело за сексуальное домогательство воспитанника...

Тысячи раз слышанный и очень слабо варьируемый пятничный итоговый приказ.

— У меня все, Олег Дмитриевич, — обратился к директору замполреж. Он даже щелкнул каблучками.

Залетаев — директор по всем ипостасям. Он высок, статен. Голос ровный даже в гневе, речь грамотная, что выгодно отличает его от предшественников. Хорошо держит дистанцию и удар. Барин. От всей его фигуры за километр несет породой, и не было бы ничего удивительного, если бы в его родословной вдруг обнаружилась голубая кровь. Впрочем, в последние годы этот цвет стал неприличным.

— Позвольте вам представить, — сказал густо и сдержанно одновременно, — нашего нового воспитанника Федосеева Максима. Мальчик наш, местный. За что он попал в спецшколу, узнаете сами. А я прошу всех, и взрослых, и вас, юноши, радушно принять его в нашу дружную семью. Какое-то время мы контроль-

но понаблюдаем за ним, и все противоправные действия против него будут пресекаться самым жестким образом.

«Ха-ха! — подумал Юрий Викентьевич. — Дружная семья! Как бы не так. От такой дружбы, если воспринимать ее серьезно, нормальный человек через год будет на учете у психиатра, а через два — в петлю полезет. Улыбчатые «здрасьте-до свиданья» уже сто лет никого не вводят в заблуждение, особенно сейчас, когда грядет обвальное сокращение».

— У дежурного учителя что-нибудь есть? — прервал его мысли вопрос Залетаева.

У дежурного учителя было желание поскорее уйти, и он неопределенно пожал плечами.

— Товарищи взрослые?

Все промолчали.

— Уходим по дисциплине. Командуйте, — директор обратился к командиру школы.

По дисциплине первым ушел Юрий Викентьевич. Пожал руку старшему дежурному по режиму, вышел на крыльцо и всем объемом легких вдохнул напитанный черемухой майский воздух. По телу пробежала крупная дрожь: в здании прохладно, а на улице — райская благодать.

Лиственнично-березово-липовая аллея вынесла его к проходной. Диванов любил эту аллею. Было в ней нечто фундаментальное, незыблемое, успокаивающее, и, если не было спешки, он шел не торопясь, иногда касаясь рукой стволов, но сегодня он чувствовал себя освободившимся узником и едва не бежал.

На проходной — здоровый мужской гогот и крепкий мат, слегка разбавленный общепринятой лексикой. Юрия Викентьевича всегда удивляла способность некоторых особей ненормативно строить не только фразы, но и текст.

Режимник идет в бухгалтерию выяснить какую-то недоплату. Выходит расстроенным. Приятель ждет у дверей.

— Ну, хрен ли?

— А ни хрена.

— Какого ж хрена?

— А ну их на хрен.

И всем все ясно, и не нужно никаких уточнений.

На диване сидел Ростислав Семенович Неронов. Учитель музыки и танцев. Играй, музыкант. Юрий Викентьевич с ним приятель-

ствовал. Да его все любили, включая детей. Господин Оптимизм.

— Домой, Юрок? Подожди, анекдот дорасскажу — вместе пойдем.

Анекдота Юрий Викентьевич не понял и участия в общем смехотворчестве не принял.

— По портвешку? — предложил Ростиславу Семеновичу, едва они спустились с крыльца.

— Отчего и нет? Сегодня я без тачки и без халтуры, — халтурой прозывалось сопровождение свадеб, юбилеев и прочих сабантуев.

— А я без жены.

— Куда сплавил?

— В Финляндию уехала, к сыну. Можем ко мне.

— Брось! Такая погода! Сядем где-нибудь на пленэре, подставим белые спины ультракомфорту.

— Тогда на речку. Есть у меня одно заветное, почти безлюдное место. Лады?

Они прошли вдоль высокого железобетонного забора, за которым еще раздавались детские голоса и окрики воспитателей, свернули направо и вышли к магазину «24 часа».

Найти пустынь оказалось не так уж и просто. И там и сям сидели пары, тройки, компашки, реже — задумчивые одиночки.

— Когда народ работает? — спросил Неронов.

Молдавский портвейн был не очень хорош.

— Тебе папа говорил о нагрузке на будущий год? — спросил Ростислав Семенович.

— Мама говорила, — под мамой подразумевалась завуч школы Лидия Васильевна Гаева.

— И что ты думаешь?

— Не знаю, Славянин, не знаю. Из-за десяти часов ездить сюда бессмысленно. Обещала благодетельствовать или факультативом, или кружком. Но ясно все будет в конце августа. А ты?

Неронов сделал большой глоток, вытер губы и, махнув рукой, выдохнул:

— Предлагают в третью школу. Нагрузки — хоть на две ставки, плюс — хор. Но там, коллега, работать надо.

Речка-невеличка. Летом мелководна до неприличия. Перешагнешь — не заметишь. Сейчас бурлива, грязно-пенна, своенравна: привычного русла ей мало, растекается дюжиной рукавчиков, огибает бугры и деревья, подмывает склоны холмов — многорукий беснующийся Шива. Скрытые от взора, пели неведомые птахи.

— Что за птички? — спросил Диванов.

— Я пение птиц различаю только по глюковскому «Жаворонку» и алябьевскому «Соловью», — ответил Неронов и рассмеялся собственному остроумию.

Они сидели на обломке березового ствола. Попивали, покуривали, поговаривали о сотни раз говоренном.

— А здесь, значит, работать не надо? — не столько вопрос, сколько желание позлить.

— Брось ты ля-ля! Тридцать-сорок человек — там, и никто петь не хочет, ломка голоса, до-ре-ми-до-ре-до! А здесь — пять-семь, и все поют, и никаких ломок.

— У тебя запоешь!

— Да и ты дисциплину не конфетками держишь. Ладно, кончай за работу трепаться, давай о бабах. Скажи честно, ты Лидку трахаешь?

— Это нас начальство трахает. А что о бабах? Ровесницы неинтересны, а молодые за так не дают.

— Значит, честно за Лидку говорить не хочешь? Ну и правильно.

Диванов хмыкнул и не стал ни отрицать, ни утверждать. Полшколы было убеждено, что между ним и завучем интимные отношения.

— Поехали к Ольге? — портвешок разбирает и по-юношески требовал действий.

— С чего это?

Неронов достал сотовый.

— Оленька? — елеиным голосом спросил он. — Чем занимаешься? А мы с Юрием Викентьевичем не знаем, куда бросить свои бранные кости. Хорошо. Минут через сорок будем.

Диванов нехотя поднялся. Жаль было оставлять успокаивающий шум талой воды, клейкий запах едва взорвавшихся почек и даже этот ненужный бесплотный разговор.

1978, август

Ни прожитые двадцать шесть лет, ни полная тревог и лишений служба в СА, ни работа на самом социальном дне — ничто не убергло Юрия Викентьевича Диванова от робости и даже некоторого страха перед этим детским учреждением. Он с опаской обошел полпериметра территории школы, поразился

трехметровому деревянному забору с обратным козырьком и в нерешительности остановился перед проходной. Что-то внутри кричало, предупреждало и даже угрожало, удерживая от последнего шага, после которого жизнь должна была приобрести и новый смысл, и другой ритм, и иное мироощущение.

На крыльцо вышел молодой мужчина в расстегнутой до ремня рубашке. Он внимательно оглядел Диванова и сказал:

— Если вы на свидание, то сегодня неприемный день. Суббота и воскресенье. Передачку можно оставить.

«Вот тебе и раз», — подумал Юрий Викентьевич и внутренне съезжился: неприступностью школы веяло от, как выяснилось позже, дежурного по режиму, или, по-простому, — режимника.

— Мне к директору, по направлению из горono.

— Тогда проходите, — мужчина пропустил его в прохладный коридорчик и вывел на территорию. — Во-о-от в то здание пройдите. Там на первом этаже — направо. Не найдете — подскажут.

Юрий Викентьевич прошел ухоженной аллеей с густым бордюром подстриженных акаций и оказался в большом и гулком вестибюле. Две пожилые женщины в черных халатах отмывали стены после побелки потолка. Пара наголо стриженных подростков выносила мусор из подвала.

— Здравствуйте, — дружелюбно улыбнулись женщины.

Дети тоже поздоровались. И даже вежливо.

— Здравствуйте. Директора где найти?

— А он в подвале. Спускайтесь вниз.

Подвал оказался вполне приличным спортивным залом. Высокий, хорошо сложенный мужчина в тренировочных брюках и водолазке делал разметку пола для игры в баскетбол.

— Добрый день. Вы Сергей Сергеевич?

— Да. Чем могу?

— Я по направлению горono, — Юрий Викентьевич протянул листок.

— Ну, пойдём в кабинет.

Кабинетик так себе: столы Т-образно расставленные, стулья вокруг и у стены, большой телефон с десятком клавиш, застекленный шкаф, в котором по ранжиру выстроились спортивные кубки. Над директорским креслом парадный портрет маршала Брежнева.

— Значит, учителем истории, — директор заглянул в бумажку, — Юрий Викентьевич? Но тут промашка вышла, есть у меня историк. Хотя можно и потесниться. Давай откровенно, ты к нам надолго?

Юрия Викентьевича покорило барское «ты». Он терпеть не мог панибратства и держал дистанцию даже с близкими людьми.

— Не знаю, — не стал крутиться Диванов. — Собирался наукой заниматься, но мои идеи не ко двору пришлись, так что, возможно, надолго. И я вообще-то воспитателем.

— А если надолго, предлагаю такой вариант: начать с дежурного по режиму. Пару недель на проходной, работа только в день, два работаем — два отдыхаем. Ты куришь? Так закуривай. За это время узнаешь весь наш персонал, а его не так и мало — сто четыре единицы. Потом — режимником в ночь, все дни свободны, занимайся своей наукой. И со всеми воспитанниками познакомишься. Этого добра к ноябрю штук двести двадцать-двести тридцать будет. А там, глядишь, и учителя вакансия получится, а дальше — завучем, директором, министром. Ну, как? Устраивает расклад?

Юрий Викентьевич даже не задумался.

— Давайте попробуем.

— Одна попробовала — двойню родила. Шутка юмора. Пиши заявление. Секретутка с обеда будет, сразу и в приказ. — Сергей Сергеевич поднял трубку и щелкнул клавишей, — Женя? Сейчас к тебе молодой человек подойдет, я его дежурным по режиму беру, вместо Жучкова, на проходную. А эта хронитурка пусть за трудовой приходит. Ты там давай проинструктируй и с графиком согласуй. Не мне тебя учить.

— Ты женат? Дети?

— Сыну четыре года.

— Наша работа семье не помощник. Наоборот. Отнимает и время, и силы.

Диванов не стал говорить, что от семейных дел он практически отлучен, две женщины, мать и жена, считали, что в семье два ребенка — он и Вик.

— Мои семейные дела работе не мешают.

— Ну, и ладненько.

Помощник директора по режиму содержания Евгений Александрович Гусев был небольшого роста, подтянутый, стройный и, су-

дя по всему, очень резвый человек, пытающийся держать свои эмоции в узде. Но более всего притягивала его улыбка — высокомерная, снисходящая, словно делающая одолжение в общении с тобой.

«Наполеончик», — нашел сравнение Юрий Викентьевич и улыбнулся.

Пожатие было ощутимым, а инструктаж никаким. Или почти никаким. Детей не выпускать за пределы школы ни в каком разе, одиночное хождение пресекать и фиксировать в журнале с указанием фамилии воспитателя отряда, сигарет детям не давать под страхом немедленного увольнения, отмечать в журналах коллективные выходы в город и приход-уход персонала, исключая директора и его замов. Неподконтрольной элиты оказалось шестеро: сам, завуч, заместитель по воспитательной и внеклассной работе, начальник учебно-производственных мастерских, заведующая медицинским пунктом и Евгений Александрович

Диванов расписался в журнале по технике безопасности, познакомился со встретившим его режимником и тут же распрощался с тем, чтобы уже завтра приступить к бдению.

Из спального корпуса вышла группа ребят. Их построили в колонну по два, и они с речевкой, строевым, вполне приличным шагом направились к стадиону. Мерно, в такт шагам поднимались и опускались наголо стриженные головы.

Кто шагает дружно в ряд? —

Это наш родной отряд!

«И чего боялся? — подумал Юрий Викентьевич. — Дети как дети — вежливые и аккуратные. Не страшен черт, если его не малевать».

1987, октябрь

Юрий Викентьевич вернулся из отпуска загорелым и полным лучистой бодрости. И хоть отдыхал он не в ялтах с геленджиками, а на раскопках в Новгороде, почему-то именуемом Великим, но был предоволен и собой, и результатами раскопок.

— Впечатлений выше головы, — восторгался он перед Эриком Матфеевичем Калугиным. — Атомную бомбу раскопали!

— Сразу же и бомбу! Не в тринадцатом ли веке?

Ладно, вечером расскажешь, если не сильно врешь к жёнушке под бочок.

Октябрь стоял холодный, но не сырой. Днём еще пригревало солнце, возникавший на исходе ночи иней быстро обращался в росу.

Пионерский вожатый Диванов хотел было перенести дружинные ежевечерние огоньки в комнату, но Алёша Старостин, его правая рука, уговорил хотя бы еще разок собраться в их любимом месте.

Сбор, по обыкновению, состоялся сразу после ужина. Десять председателей советов отрядов, председатель совета дружины и старший пионерский вожатый. Почему старший, когда он был один, Диванов не знал и знать не хотел. Вероятно, для повышенного на червонец оклада.

Вечер был прохладный, но сухой. Костер горел пылко, и разговор разгорался нешуточно. За месяц отсутствия партийного вождя дел добрых и не очень накопилось великое множество, а потому решили разбирать только эпохальные.

Дежурным по костру был Иван Смышляев из «Бригантины». (Каждый пионерский отряд имел название — для романтики и отличия, поскольку далеко не все в отрядах были пионерами.) Ему в обязанность вменялось поддерживать огонь и приглашать для разборок провинившихся.

Скоробежно миновали времена, когда к пионерской организации относились свысока и пренебрежительно, удачливо переменялся статус неброской должности Диванова: в отсутствие властного Хаджи Саидовича и присутствии гуттаперчевого Фёдора Ильича он негласно занял место очередного зама директора. Юрий Викентьевич обладал немалой властью, но при этом нёс невнятную ответственность.

Костер полыхал адово, словно собирался тут же подвергнуть грешников геенническим мученьям: вероятно, опять разжились в гараже склянкой бензина. А ведь был запрет, но Диванов за ради первой послеотпускной встречи раздувать кадило не стал.

Расселись демократично, без чинов, но так уж получалось, что, куда бы ни переместился пионервожатый, он оказывался в центре, а рядом с ним — Алёша Старостин.

Отрядные председатели докладывали делово,

по привычке — пространнее о делах приличных и куда скупее о не.

Самым громким оказалось кошачье дело, и докладывал о нем председатель Совета дружины. Пионер отряда «Корсар» (вот название себе придумали, и не переубедить) Коля Арбузов гнусно издевался над кошкой: привязал веревкой к дереву, истязал, потом повесил и выколол глаза. Дело тотчас всплыло, он был административно наказан карцером, и закрепилось за Арбузовым нелестное погоняло кошкодава.

Ваня Смышляев привел кошкодава. Тот стоял, набычась и поминутно сплевывая в огонь, словно желая притушить его.

— Ну, доложи, друг любезный, за что подверг пытке бедное животное? За что покарал так сурово?

Кошкодав молчал, всем своим видом показывая, что плевал он не только на пламя, но и на всех его окружающих. Нет у них, окружающих, прав судить его: дважды за один проступок не наказывают.

— Она ему спать не давала! Мяучила, будто с неё шкуру сдирали, — выкрикнул кто-то из-за костра.

— Ты, Сергей, адвокат его? — ехидно поинтересовался Юрий Викентьевич, узнав голос арбузовского приятеля. — Выскажи свои соображения в защиту. Если они есть.

Соображений не оказалось. Испытуемый продолжал молчать.

— Ну что ж? Предлагаю Совету дружины на выбор: или сделать с ним то же самое, что он сотворил с кошкой, или... Впрочем, второе предлагайте сами. Вам виднее.

Галдёж на весь мир и его окрестности, и нет равнодушных.

«Почему мы так индифферентны, нет, даже жестоки к падшим? — думал Диванов, пережидая ор. — Почему мы любим суды и публичную казнь? Почему унижение соседа возвышает нас?»

Вопросы старые и безответные.

— А что, глаза выкалывать тоже будем? — на полном серьёзе спросил Ванька Смышляев.

— Почему бы и нет? — пожал плечами Юрий Викентьевич. — Пусть в полной мере испытает все прелести кошачьей жизни.

Кошкодав не напугался. Не будут глаза колоть

и за ноги подвешивать. Дело-то подсудное.

— Предлагаю его в Англию выслать, — сказал начитанный Алёша Старостин. — Там за издевательства над животными в тюрьму сажают.

— Неплохая мысль, — согласился Юрий Викентьевич, — но хлопотная. Он к полному оформлению документов и виз всех кошек в городе изведёт.

— Ага! А коты без них сами сдохнут. От тоски. Весело.

Юрий Викентьевич взглянул на часы: дело к отбою.

— Давайте уже решим что-нибудь, а то режимники розыск объявят.

— Гнать его из пионеров, и все дела, — поставил жирнющую точку председатель.

Наказание более серьезное, чем подвешивание за ноги: на три месяца автоматом лишается выхода в город, а впереди каникулы осенние и зимние. Непионеры так не наказывались, но и льгот у них было поменьше.

— Ты животных совсем не любишь? — тихо спросил пионервожатый.

— Почему? — впервые раскрыл рот кошкодав. — У меня дома крыска была. Ее кошка соседская загрызла.

«Вот вам и разгадка, — невесело подумал Диванов. — За всяким спонтанным поступком что-то есть. Какая-то, часто неосознанная первопричина. Отсюда и выплывать надо».

— Так ты, брат, специалист по домашним животным, — задумался Диванов, но ненадолго. — Послушай, у меня котенок есть на примете. Хроменький. Не возьмёшься воспитывать... Коля?

Вот так вот. Не кошкодав, а Коля.

— Так это... не дадут в спальне держать. Или в бытовке.

— Я думаю, нам надо организовать живой уголок, — так же раздумчиво, как бы про себя проговорил Юрий Викентьевич и вспомнил о безуспешных просьбах сынишки завести щенка. Он и сам в позадавние времена хотел.

Поворот событий для Совета оказался неожиданным. Словно недорешили чего-то, недосказали и, главное, не наказали.

Диванову не было присуще сожаление о содеянном, и он недолго размышлял над нравственно-профессиональной оценкой своего решения,

наивно полагая, что первый импульс и есть самый верный.

Светлана Андреевна пофыркала, но приказала освободить бильярдную под живой уголок.

— Успеют научиться шарами деньги зарабатывать, — урезонила она Николая Евгеньевича Колесова, спорторга школы.

Вечером до последнего автобуса просидели Диванов с Калугиным за чаем. Умел заваривать Эрик Матфеевич. И заговаривать умел. Но на этот раз больше слушал, почти не перебивал, и это было внови. Пожалуй, что-то приберегал напоследок.

Юрий Викентьевич о бурном огоньке помянул вскользь, прелюдией — его распирала новгородские впечатления. Диванова было не остановить. Он поминал двадцативосьмислойный пирог новгородских мостовых, говорил, что град сей славный еще в XVI веке назывался околотком, что Владычный двор возведен в XIX столетии, и много других вещей, Новгороду неприятных.

Монолог Диванова был многословен, горяч и не совсем последователен. Он и сам это сознавал, а когда увидел безогоньковые глаза собеседника, и вовсе ступевался.

Калугин тактично задал пару косвенных вопросов и решительно отрезюмировал:

— Все это необычайно интересно, даже ошеломляет. Поверь, я не догматик, но так вдруг, без предисловий и раздумий, похерить с младых ногтей всосанное родословие наше — очень сложно. Понимаешь, протест внутренний возникает, даже против желания.

Была лукавинка в возражении: не однажды, а многожды вел приватные беседы Диванов на тему отсутствия приличной методики объективного датирования. Правда, о Новеграде говорил впервые.

Юрий Викентьевич сконфуженно, но больше обиженно закурил, отодвинул бокал с чаем, на котором иронично красовался Софийский собор, и раза три с секундными перерывами взглянул на часы.

— Я, пожалуй, капельку неправ, — наконец решился дать задний ход Эрик Матфеевич, — но мозги мои сейчас до последней клетки заняты сегодняшней Историей.

Он так и произнес — с заглавной буквы.

— В какое время мы живем! — в голосе патетики было на небольшой митинг. Это ведь не хрущевская оттепель, хотя начало, несомненно, там, а нечто большее, но до конца не видимое. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Но трижды — кто принял участие в его переустройстве.

И эти разговоры не первой свежести, но где и против кого возводить баррикады — никто не знал.

— Я еще раз тебе предлагаю, давай организуем кооперативную библиотеку.

Кооперативы рождались и приказывали долго жить поминутно, особо усердствовал, правда, пока потаенно, комсомол, но Диванов никак не мог взять в толк кооперативную библиотеку. Он понимал кооператив как один из способовковки денег, а от книг что возьмешь. Наступала эпоха, когда и бесплатные не читают.

Калугин объяснял туманно, что-то говорил о духовных богатствах.

— Ты мне, примитивному человеку, примитивно и объясни, как ребенку: что это такое и с чем его едят?

И Калугин решил.

— В стране и за бугром выходит много литературы, практически недоступной среднему гражданину СССР. И мы сделаем её доступной.

— Самиздат, что ли?

— И самиздат в том числе. У меня уже имеется кое-что, есть единомышленники. Организуем клуб, скажем, исторический, при нем библиотеку...

— Тайное Северное общество?

— Никакой политики, уверяю тебя, только литература.

Диванов задумался.

2002, октябрь

Отца Максим почти не помнил. Какие-то неясные картинки, то ли бывшие на самом деле, то ли навеянные рассказами, и фотография 9x12, с которой светился морской улыбкой старшина второй статьи Петр Федосеев, — вот и все. А неделю назад он вернулся и принес с собой пугающие и притягивающие слова из иного мира:

тюрьма, зона, БУР, параша, откинулся, баклан, — значения которых были непонятны, но звучали волнующей песней.

Неделю шел праздник возвращения. Приходили знакомые и незнакомые мужчины и женщины, пили водку, о чем-то криком спорили, но отец всех успокаивал, брал гитару и пел песни Михаила Круга или группы «Лесоповал». Каждый вечер заканчивался одинаково: гости, если могли, уходили, а отец бил маму, и тогда маленьким тощим зверенышем Максим кидался на отца, колотил его сбитыми кулачками по спине и плечам.

— Уйди, Макс, не лезь, пришибу! — кричал отец, но постепенно тихомирился и уходил в спальню, куда вскоре осторожно прокрадывалась и мать.

Долго оттуда слышалось обоюдное бормотание, потом — скрип кровати и сдавленные стоны.

«Опять мне братишку делают», — думал Максим и долго не мог уснуть, воображая картинку этого братишкоделания.

Квартирка у них нелядашая. Две смежные комнатки. В якобы гостиной спал и делал уроки, очень редко, Максим. Отопление печное, дров, как всегда, нет, и в обязанности Макса входила добыча этих трижды проклятых дров. Из удобств — газ, водопровод и ветерклозет.

Дом был старый, деревянный и аварийный. Его собирались снести еще до Максимова рождения, потом сроки много раз переносили и, в конце концов, забыли о нем. Ремонта в квартире на Максимовой памяти не делали, и уже не угадывался цвет и рисунок обоев, побелка давно обратилась в пятнистую черненку.

Когда мать не пила, в доме было чисто, насколько это возможно в эдаком запустении. Раз в год по весне она мыла окна, иногда трясла дотканые дорожки и совсем без графика мыла полы. Но даже и после таких приборок квартирка не становилась благоустроенной и светлей.

Подвыпивший отец иногда сажал сына рядом с собой на продавленный диван, служивший Максими кроватью, и говорил ему о будущей жизни.

— Ты, сынок, верь мне, немного времени пройдет, и заживем мы как у Христа за пазухой. Мотоцикл хочешь? Вообще-то рановато, тебе ведь еще не шестнадцать? А мопед? Будет.

Максим хотел и мопед, и компьютер, и телек, и

видик, и сотовый, и футбольный мяч, и много вкусной еды. Он не думал: какой. Важно — еды.

Отца посадили, когда Максу было пять лет. Сейчас — одиннадцать. Значит, оттащил он больше половины Максовой жизни. Представить это было невозможно. Времени в его мироощущении не было, если не считать смены дней, ночей и времен года. Но половина жизни не вместилась в его не сильно развитую голову.

— А ты почему не в школе? — в четвертый раз спросил отец.

— Сам же сказал, чтоб с тобой побыл, а ты записку училке напишешь. Или забыл?

— Ла-а-адно! Но завтра — чтоб в школу! И там без драк, без карманов в раздевалке, ни-ни. Чтоб никакой ментяра поганый на тебя маленькой мыслишки не имел. Понял?

— Ну.

— Что, ну? Понял?

— Понял.

— Вот тебе на завтрак, — отец сунул опешившему Максу десятку.

Мать ему на завтраки никогда не давала. Не было у нее денег, но с работы приходила почти каждый день веселенькая. Да и какая работа — бутылки принимала на углу у магазина. Правда, дождь, мороз — все равно стой. Еду приносила. Ели почти всегда резаную картошку с кабачковой икрой. А уж если пельмени или колбаса — праздник!

Утром Максим с запиской, криво накарябанной отцом, отправился в школу. Учился он в четвертом классе и переваливался с двойки на тройку, раз и навсегда решив, что школа ему по барабану.

— Вот и наше северное солнышко появилось, — обрадовалась поострить училка. — Опять уши болели?

— Записка от папы, — сказал Максим и опустил голову.

Вера Васильевна по кличке Верка-сердючка долго и сосредоточенно читала объяснение Федосеева-старшего.

— Вернулся, значит, предмет для подражания? Отдай эту писулю папочке, пусть подотрется.

Класс заржал.

Максим еще ниже опустил голову и до крови кусал губы, чтобы не заплакать. Надо было что-

то делать: или убежать из класса, или сесть за парту, или сказать что-нибудь дерзкое, но он стоял, приговоренный к общему позору, и не мог ни на что решиться.

— Подними голову, посмотри в глаза, а мы узнаем, есть ли там хоть капля совести.

Максим посмотрел, и Верка-сердючка загнулась на полуслове: взгляд, исполненный не детской ненавистью, прожигал и даже вызывал страх.

— Садись, — сказала она, отводя очи.

На завтрак Макс не пошел. Поначалу забыл, что может это сделать, а когда покурил с пацанами за углом школы, есть уже не хотелось.

— Ну, как батя? — спрашивали кореша. — В наколках, да?

— Суперский, — солидно ответил Максим и сплюнул. — При капусте. Дома теперь — полный отвал.

После уроков домой Максим не пошел. Он пошлялся по городу, купил пачку сигарет «Оптим» и жвачку и уселся на спинку скамейки в сквере покурить. Было холодно. Из курточки, купленной два года назад в секонд-хэнде, он вырос, а перчаток даже зимой не имел.

Стоял конец октября. Снегу еще не было, но северо-восточный ветер нагнал морозцу, и мелкие лужи промерзли насквозь. Листья на асфальте хрустели и рассыпались под ногами.

Чтобы согреться, он зашел в супермаркет и долго ходил по отделам, нигде не задерживаясь, чтобы не привлекать внимания.

У закутка с компьютерными играми он пожалел, что купил сигареты, и долго смотрел, как играют другие.

Минут через пятнадцать к нему подошел охранник.

— Ты чего тут ошиваешься?

— Маму жду, она пальто покупает, — Макс очень убедительно показал головой вверх.

Охранник недоверчиво оглядел неприятно одетого мальчишку, хмыкнул и отошел к входу-выходу.

Максим понял, что долее стоять здесь опасно, незаметно огляделся и направился на второй этаж. Народу было немного по причине середины будничного дня. Три тетki, одна другой толще, выбирали брюки. Максим представил тетку в брюках и захихикал, но тут же осекся. Одна из

покупательниц то и дело вынимала кошелек и что-то в нем выискивала, наверно, деньги пересчитывала. Вот она снова пошебуршила в нем и бросила в сумочку, висевшую на плече. Сумочка шелкнула, но не закрылась, наоборот, — зазывно раскрыла пасть. Мелкими шажками, стараясь быть совсем незаметным, Максим подошел вплотную, и в тот момент, когда небдительная тетка прикидывала на себе очередные штаны, а две ее подруги перетряхивали длинный ряд подобного товара, рука его скользнула в сумочку, легко вытащила лопатник, и через пять секунд он был уже на первом этаже.

Он не пошел сразу на выход, а двинулся к отделу игрушек, там развернулся и неторопливой походкой зашагал к дверям. Их бдительно охранял давешний охранник, но на Максима он внимания не обратил — говорил по сотовому.

Никто Макса этим отвлекающим маневром не обучал, они как бы жили в нем с рождения.

В междверии, где приятно стреляла тепловая пушка, Максим услышал позади крики. Не головой — страхом понял, почуял опасность, но не побежал, а незаметно скинул кошелек в урну с мусором, вышел на улицу, достал сигарету, но прикурить не успел: тот же охранник схватил его сзади за плечи, развернул и потащил в магазин.

— Дяденька, отпустите, — испуганно верещал Максим. — Что я сделал? Ничего я не сделал, смотрел, как играют.

Про маму напоминать он не стал, да и охраннику не до нее было.

— Еще спрашиваешь, что сделал, щенок шелудивый? — противным голосом крикнул охранник. — Карманы выворачивай!

Максим сжимался, боясь ударов, но покорно шел, влекомый уверенной силой. Его впихнули в какой-то кабинетик, маленький и безмебельный, и обыскали. Следом вкатили три тетки.

— Этот украл?

— Не знаю, я его не видела, я никого не видела, — причитала пострадавшая, — не сразу и заметила, только у кассы. Смотрю: сумочка раскрыта и кошелек нет, а там все мои деньги были.

Обыск ничего не дал. Сигареты, спички, жвачка. В сумке три учебника, тетради и перочинный нож. Две подруги обворованной тоже мальчика не видели. Вроде бы его заметила продавец, но наверно утверждать не могла.

— Может, сами обронули, а на меня, — всхлипывал Макс и растирал натуральные слезы по лицу.

Вошли два милиционера с попискивающей рацией и снова, на сей раз профессионально, обыскали.

— Он один был?

— Вроде один, — неуверенно ответил охранник.

— А выбросить не мог?

— Не-а, я его на выходе взял.

— Дяденьки, отпустите, — продолжал всхлипывать Максим, и глаза у него были испуганные и честные.

— Мы его забираем, — сказал сержант.

— Отпустите вы его, — вмешалась пострадавшая тетка. — Ведь не нашли ничего.

Максиму за ее доброту стало жаль тетку, и он едва не дернулся сказать, что кошелек в урне с мусором, но тут же осекся, опасаясь милиционеров.

— А заявление писать будете?

Женщины переглянулись.

— Буду, — нерешительно ответила незадачливая покупательница. — Хотя все равно не найдете.

В горотделе его подняли на второй этаж и, проведя длинным сумрачным коридором, втокнули в 212-й кабинет. Низкорослый поджарый оперуполномоченный, постукивая карандашом и пристально рассматривая Макса, выслушал сержанта и отпустил его.

— Ну что, щегол драный, допрыгался? Давай колись, с кем был в маркете? Кому передал кошелек?

Макс уже не плакал, стоял, опустив голову так, что плечи оказались выше ее, и размышлял, дойдет дело до отца или нет. Своего предка он боялся больше, чем ментов. Федосеев-младший не заметил, как опер подошел и ударил его ладонью по щеке. От неожиданности он не удержался, упал на пол и закричал во всю силу своих слабеньких легких.

На крик в дверь просунулась чья-то голова.

— Как дела, Петрович?

— Нормально. Идет дознание.

Максим поднялся и растер слезы по щекам. Ему не было больно и даже не было обидно. Ему нужно было дстоять, не сломаться, не запани-

ковать. «Ничего менты знать не могут и не узнают», — думал он.

— Я же все равно узнаю, кому ты кошелек передал, — совсем спокойно и приглушенно сказал Петрович, — и будешь ты месяц в детприемнике париться, потом в спецшколу на три года. Расскажешь как на духу — все на тормозах спустим. Ну что?

— Не брал я ничего, — хриплым шепотом ответил Макс.

— Я-асно, — протянул опер. — Пошли, на пианине сыграем.

Максим успокоился. Он безропотно дал снять отпечатки пальцев, расписался на двух листах протокола и был отпущен, по словам Петровича, ненадолго.

На улице его прошибло холодным потом: если кошелек нашли — на нем его отпечатки пальцев, и тогда все, загремит он в спецуху.

Надо было куда-то идти, но Макс не придумал, куда, и просто шел, не разбирая пути. Стало холодно, время шло, а он никак не мог определить, следят за ним или нет.

— Ну, и фиг с ними, — сказал себе и отправился к супермаркету.

Народ входил и выходил. Максим не стал даже оглядываться. Кошелек был в урне.

Отдушиной, мечтальной, последним прибежищем у Максима была сарайка. Вообще-то, она предназначалась для дров, но сего необходимейшего продукта в ней давно уже не водилось. И хорошо, что они жили на втором этаже, иначе вымерзли бы. Мамонты погибли из-за отсутствия дров.

Здесь у него стояла раскладушка с тюфячком, вата в котором сбилась и бугрилась жесткими холмами, сверху лежало латаное одеяло. В самом углу стоял самодельный столик со столешницей из нестроганных досок и два стула, вполне пригодных для сиденья. Под третьей слева от входа половой доской у него был тайник, хранящий лупу, электронные ручные часы с будильником, которые он носить не мог, чтобы не вызывать ненужных вопросов, ножик с откидывающимся лезвием, медаль «За отвагу», снятая с пьяного ветерана, и отцовский знак «За дальний поход».

Максим раскрыл кошелек. В нем оказалось

шестьсот долларов и больше трех тысяч рублей. Он свернул рубли в рулончик и отправил его в тайник. Мелочь, не считая, пересыпал в банку из-под растворимого кофе «Пеле» и тоже спрятал. Баксы решил отдать отцу.

«Скажу, нашел кошелек», — придумал он.

Отец отвесил весомую затрепину.

— Не гони пургу — нашел! — крикнул он. — Зелень на дорогах не валяется, на газонах не растет.

Максим затравленно молчал. Он уже жалел, что отдал отцу деньги. Надо было как-то выкручиваться, но ничего в забитую опером, а теперь и папаней голову не приходило.

Отец неожиданно смягчился. Прошел по комнате туда-сюда, сел на диван и притянул к себе Макса.

— Пойми, башка твоя пустая, ты мне чистый нужен, — взъерошил сыну волосы и замолчал, раздумывая, говорить дальше или отложить разговор. — Попадешься на мелочевке — вся жизнь под колпаком у ментов. Долго не отмоешься, — решился в разумной мере, не до конца открывая карты, продолжить. — А воровать — так миллионы. Рассказывай, как было, — неожиданно повернул к старому.

Максим успокоился и толково рассказал.

— В кошельке ведь не только баксы были? — вкрадчиво и ласково спросил отец.

— Еще мелочь была, — решил ни за что не сознаться до доньшка Макс, — но я ее истратил.

Отец, похоже, не поверил, но углубляться не стал.

— Слушай сюда, — строго приказал он. — Будешь вести себя, как юный пионер. С учителями чтобы вежливо, без конфликтов. Тебя бьют, а ты улыбайся. Но не унижайся. И упаси тебя Бог воровать. Даже думать забудь. И дрова красть больше не будешь — послезавтра сарайка будет забита сухими березовыми.

— А как же я? — запилькал глазами Федосев-младший. — Ведь она же моя. Там у меня кровать, столик...

Петр задумался. Вспомнил своё детство и свою сарайку. Спросил:

— Свободные есть?

— Есть. Штуки три.

— Ну, считай, вопрос решен. Ты на учете в детской комнате состоишь?

— Не-а. Только вот сегодня в горотдел при-
возили.

— Наплевать. Твой опер все делал противоза-
конно. Он даже допрашивать тебя не имел права
без педагогического или социального работника.
На испуг брал. После я научу тебя, как вести себя
в таких делах.

2003, май

Оленька, или Ольга Николаевна Привали-
шина, жила с пятилетним сыном в трех-
комнатной квартире престижного дома в
центре. Она на заре туманной юности явилась
жадным взорам спецшкольных мужчин. Бла-
годаря гипнотическим чарам быстро из воспи-
тателей перескочила в элитную касту учите-
лей, вела географию, потом удачно выскочила
замуж, еще более удачно развелась и теперь
вела свободный образ жизни, всю себя отдав
воспитанию сына. Или почти всю.

Приятели поднялись на четвертый этаж, Неро-
нов позвонил. За дверью протренировал «Танец с
саблями».

— Если бы Хачатурян знал, что его гениаль-
ная музыка будет звучать в тыщах прихожих
наравне с «Муркой», сто бы раз подумал, сто-
ит ли ее писать, — баритонил Ростислав Семен-
ович в уже открытую дверь. — Хотя какая это
прихожая — холл.

— Как я рада, мальчики, что меня не забыва-
ете, — щебетала Оленька, препровождая гост-
ей на кухню. — Ничего, что сюда? Посидим
по-простому.

У плиты что-то помешивала Татьяна Геор-
гиевна. Воспитатель. Тоже бывший. Юрий Ви-
кентьевич не встречал её со времени скан-
дального ухода.

— Как наша любимая школа? — спросила
Оленька.

— Без вас — серая и будничная, — комплимен-
тил Славяннин. — Что там может быть нового?

Татьяна раскладывала тарелки и ничуть не
смущалась под пристальным взглядом Дивано-
ва. А он не мог отвести пытливого взора не пото-
му, что она обладала броской красотой или маг-
нетизмом, напротив, была высока, худа и плос-
ка, с лицом заурядным, близким к простенько-

му, а потому, что все нетрадиционное, особенно
в области секса, притягивало его.

Неронов лишал девственности бутылки вина —
традиционного портвешка и сухого «Каберне»,
но Татьяна решительно отставила в сторону чет-
вертый фужер, водворила стопку и бутылку
«Столичной», явно дисгармонирующей в дан-
ном ландшафте.

— Гусары пьют за прекрасных дам и, конечно,
стоя, — вальяжно оттопился Ростислав Семено-
вич и выпил первым.

Молча позакусывали.

— Что вы меня разглядываете, Юрий Викенть-
евич? — деланно засмушалась Татьяна Георгиев-
на. — Я очень переменялась?

— Вы похорошели, расцвели.

С Оленькой Диванов был на «ты», а с этой де-
вицей на брудершафт и даже без оно не пил.

— Ох, перестаньте лукавить, Георгий. Можно я
так буду вас называть? Этим именем и папу мое-
го звали.

— Лучше не надо. Это все-таки немножко раз-
ные имена. И, чтобы закрыть тему, сразу уточ-
ним, что Диванов — не от дивана, а от дивы. Но
есть вариант, что и от Дивана — турецкого каби-
нета министров.

Через пятнадцать минут они были накоротке,
весело припоминали забавные случаи из школь-
ной жизни и были довольны друг другом.

— А вот вам сексуальный случай, — Юрий Ви-
кентьевич сделал ударение на последнем слоге, —
из времен, когда секса в Советском Союзе и в по-
мине не было. Представьте себе банный день, а в
те времена былинные должности банщика в
школе не было, и воспитатель, сейчас не помню
её ни по имени, ни внешне, ведет восьмой класс.
А там встречались ещё те гвардейцы, в екатери-
нинском вкусе. И, как на грех, режимника нет,
который должен порядок проконтролировать.
Представляете её положение? И зайти нельзя, и
не зайти нельзя: баня — самое удобное место для
межмальчиковых извращений, дойдет до на-
чальства — погонят с работы. Зашла в раздевалку,
вдруг гаснет свет, на нее бросается с десятков па-
цанов, валят на пол, начинают стаскивать трусы.
Она визжит, как на допросе в гестапо, кусается-
царапается и уже почти вырвалась, а тут влетел в
подвал Володька Пеньков, ты его, Славяннин,
должен помнить, и дело получило огласку. Боль-

ше эту женщину в школе не видели. Даже трудовую не сама получила.

— Что же она в платье-то на работу? — округляя любопытные глаза, спросила Оленька.

— А в те времена, милые дамы, в джинсах-брюках женщин в школу не пускали, — уточнил Неронов.

— Ой, как учителя сойдутся, — возмутилась Татьяна Георгиевна, — так разговоры только о работе. Давайте потанцуем?

Она схватила Диванова за руку и потащила в гостиную.

Музыкальный центр отреагировал мгновенно, видимо, настроен был заранее. С четырех сторон заоблакивал стереосиреневый туман, популярный в пору ранней Юркиной юности и возродившийся.

Это был не танец, а затычное, с легким пошевеливанием объятье — от колен до щеки на плече. Страстней всего она хотела прижаться грудями, которых не было.

— Финита, дамы и господа, — провозгласила появившаяся в дверях Оленька. — Через полчаса нянечка Олежку приведет, так что прошу на пошок.

Юрий Викентьевич вздохнул с облегчением: назойливость Татьяны начала его доставать. Впрочем, при желании вздох можно было принять и за сожаление.

Ростислав Семенович подозрительно долго возился со шнурками кроссовок, и Диванов с Татьяной вышли без него.

— Времени-то всего шесть часов! Вечер умер, не начинаясь. Или найдем ему достойное продолжение? — спросила Татьяна Георгиевна, глядя на носки его ботинок.

— Какое?

— Посидим где-нибудь...

— Посидим... полежим, — раздумчиво произнес Диванов. — Где-нибудь — это вряд ли. У меня денег — едва на маршрутку.

— Опять зарплату задерживают?

— Не в этом дело. Жена в Финляндию укатила.

— Понятно. Может быть, к вам? То есть к тебе? У меня есть немного денег — на твой портвешок хватит.

Он уставился на Татьяну и неприлично долго рассматривал её. Без блестящей Ольги рядом она смотрелась не так уж и гадко. А что одному де-

лать? Уставиться в телевизор? Поплывать в Интернете? Читать свежескупленного Джона Френсиса Бирлайна?

— Ладно, пошли приколемся.

— К тебе же далеко. Поедем?

«Откуда она знает, где я живу?»

— Недалеко. Полчаса легкого хода. Да и погода суперская, прогуляться — сплошной кейф, — Юрий Викентьевич осваивал молодежный сленг, но не очень успешно.

А Танечка, к удивлению, по специальности оказалась историком. Юрий Викентьевич как-то и не задумывался, что воспитатели по образованию — учителя-предметники. Реже — начальники, то есть учителя начальной школы. А ведь сам четыре года отработал на воспитательской ниве.

Диванов осторожно прошупал ее на предмет знания истории и тоскливо убедился, что за границы институтской программы эти полужнания не переливались.

Они сидели в его кабинетике-спальне, попивали — он винцо, она — водочку маленькими глоточками, и раскрепощенно трепались ни о чем и обо всем сразу, исключая темы серьезные.

В раскрытое окно вливался тягучий воздух середины мая. Теплые волны иногда перемежались с тонким слоем прохладных, едва заметных, напоминающих почившую зиму струек. Цвела черемуха, но не было традиционных холодов, и запах ее дурил голову.

Татьяна пересела к нему на колени и расстегнула пуговицы на рубашке. Губы, как у большинства женщин, томимых страстью, были чуть растянуты в глуповатую улыбку. Улыбку Моны Лизы. В этом вся ее загадка. Перемудрствовали товарищи искусствоведы.

— Начнем с душа, — приказал Юрий Викентьевич.

Они курили в постели. Он — едва прикрыв чресла, она — одеяло до подбородка. Застеснялась. Есть чего. Лицо пошло красными пятнами, вместо груди — две фигушки.

— Тебя, я слышал, раньше под юных тянуло? — то ли спросил, то ли утвердил Диванов. — А теперь под стариков?

Скандал по школе прошел тихий, заугольный. За два года — два романа с воспитанниками. По

первому никаких оргвыводов не сделали, хотя если бы история получила пусть небольшую домашнюю огласку — второй истории могло и не быть. Все знали, что воспитанник Чернышев увольнительные проводил у нее, а если их не хватало, бегал в самоволки, но шептались об этом кулуарно. Диванова тогда поразил неясный либерализм директора. Получилось, как вроде ничего и не было. Поговаривали, будто молодая воспитательница чем-то зацепила Залетаева, но все это было на уровне зловредных слухов.

А вторая любовь круто зарезонировала. Заметный был юноша. И подлый. Всем рассказывал, как Танька дает. В таких подробностях и эмоциях, что усомниться в правдивости рассказа было невозможно.

Венцом всему была случка (а как иначе это назовешь?) в бытовке в день выпуска. Любопытствующие детишки знали, что происходит, и, отталкивая друг друга от зашторенного окна, пытались хоть что-нибудь разглядеть в узенькой щелке между шторами.

Олег Дмитриевич вызвал ее к себе и, ничего не выведывая и не объясняя, сказал:

— Пишите, Татьяна Георгиевна, заявление об уходе. По собственному желанию.

Если сор долго не выносить из избы, его масса может стать критической.

— Не понять вам, никогда не понять, — глухо ответила Татьяна и попыталась встать.

Диванов, еще не осознав, но уже чувствуя, что совершил бестактность, удержал ее.

— Не обижайся, я не со зла.

Татьяна дернулась пару раз и затихла. Обида комком встала в горле, и глаза повлажнели. Что-то объяснять — бесполезно. Ей встречались мужики умные, но мудрые — никогда.

Она в детстве была гадким утенком, но вырасти в прекрасного лебедя было не суждено. А теперь и подавно. Уже двадцать восемь, и лучшие годы позади.

Что было всегда в дефиците, так это ласка. И нельзя было купить Танечку ни рублем, ни нарядами, ни ужинами в дорогих ресторанах, ни побрякушками, кстати, никогда и не предлагаемыми. Но — лаской. И только ею. Кошка, одним словом. И как так случилось в этом лучшем из

миров, что нежность, да что там нежность — элементарное сочувствие стали признаком слабости? Время такое? Что составляет человеческую сущность и отличие, стало стыдным приростком, атавизмом.

— Библиотечка у тебя маленькая, — чтобы как-то свернуть с неприятностей, сказала она. — У меня раз в десять больше.

— Больше — не значит лучше, — назидательно отозвался Диванов. — Когда-то и у меня было тысячи три томов. Библиоманией болел, как и все в семидесятые-восемидесятые. Потребовалось время, чтобы понять: восемьдесят процентов — пусты, пять — вредны и, может быть, двести-двести пятьдесят томов должны время от времени перечитываться, из них пятнадцать-двадцать — всегда под рукой, как сверка своего жизненного курса.

— У, какая древность! — Татьяна, закутанная в одеяло, подошла к стеллажику и потащила с полки любовно обернутую в целлофан неброскую книгу.

— Ради Бога, аккуратнее — раритет! — Диванов выскочил из постели, забыв о нагоде, и с крайней осторожностью, словно взрывное устройство, готовое в любую секунду сработать, извлек свое сокровище.

— Вот с этой книги я начинался как историк. Николай Александрович Морозов «Откровения в грозе и буре», 1910 год, издательство Сытина. Великий человек был. Вероятно, последний наш энциклопедист. В шестьдесят восьмом купил, в Питере, в «Лавке букиниста» на Невском. Сущие гроши стоила, рубля три, кажется. И за столько же — «Рок на костях». Знаешь, в наше время забугорную запись достать невозможно было, — Юрий Викентьевич воодушевился и помолодел, словно перенесся в благодное время щенячьей юности. — Кустари-умельцы записывали всяких там Барри, Армстронга, позже — Пресли на рентгеновских пленках и продавали. Отсюда и «На костях». Я тогда в десятом учился. Представляешь, какой контраст: энциклопедист Морозов и рок-на-костях.

— У тебя эти пленки сохранились? — спросила любопытная Татьяна, разглядывая еще не расплывающееся, с легким белесым пушком на груди, в паху и ногах тело собеседника.

— Откуда! — Диванов прихватил халат и завернулся, — но на си-ди есть. Хочешь послушать?

— Я есть хочу.

— Что ж? Будем есть и слушать.

1978, октябрь

Месяц отсидел на проходной Юрий Викентьевич Диванов. Тоскливая работа! Двенадцать часов ничегонеделанья выдержит не каждый. Открыть ворота пяти-шести машинам, записать в журнал их номера и цель приезда, зафиксировать приход-уход сотрудников — вот и вся недолга. Была еще одна не ежедневная, но крайне неприятная обязанность — обыскивать возвратившихся из увольнений воспитанников. Обшмонать, на местном языке. Юрий Викентьевич не хотел, да и не умел этого делать. После его поверхностных постукиваний по карманам и поясам ничего серьезного не выявлялось. Но был еще Владимир Иванович Пеньков, непревзойденный специалист обыска, с собачьим нюхом и тонко чувствующими пальцами вора-щипача. После его шмона искать было нечего.

Пытались еще обязать производить досмотр сумок и пакетов кухонных работников, но от сей почетной обязанности Диванов решительно отказался. И напрасно: его напарник Соломенников с удовольствием совал свой гоголевский нос в хозяйственные сумки, и перепадала ему мясца-рыбки-маслица малая толика.

Работа ни пришей ни пристегни. И лишь однажды в субботу произошел случай, заставивший проявить активность и увидеть школьную кухню с изнанки. Дежурный администратор Федор Ильич после обеда скрылся со школьного горизонта. Старший дежурный с двумя отрядами был в городе в кино, а тут потянулись обнищавшие родители за нежно любимыми чадами, дабы те своим посильным и ненаказуемым трудом пополнили семейный бюджет на червонец-другой. Подпить и закусить. Увольнительных у Диванова не было, как не было и приказа. Родители роптали. С огромным трудом, едва не оборвав телефон, нашел-таки он Михайлова, но в самом непотребном виде. Тот с трудом подписал пяток увольнительных, оставил тройку чистых бланков, выпил пива и отправился восвояси.

Но не скончался от утомительного безделья Юрий Викентьевич. В его портфеле лежали не только бутерброды, сахар и чайная заварка. С этими жизненно важными продуктами соседствовали, сменяя друг друга, книги Янина и Каргера, Рождественской и Аронова, Карамзина и Фрезера — историков и философов различного масштаба и убеждений. Диванов делал пометы на листах бумаги, иногда пространно возражал, порой скупно соглашался — накапливал материал. Верил зловредный исследователь, что придет время его концепции, поскольку в исторических журналах все чаще и по касательной, иногда на эзоповом языке стали появляться даже не материалы — намеки, созвучные его мыслям.

В начале октября, соблюдая статьи договора, Сергей Сергеевич перевел Диванова в ночные дежурные по режиму с чуть более высоким окладом. Вот где работка не бей лежачего, не пришей кобыле хвост. Пятнадцать смен, раскиданных по твоему желанию, если оно не идет вразрез с желаниями коллег и интересами школы, и все дни свободны. Хочешь — спать ложись, хочешь — песни пой. Но Диванов не спал и не пел. Теперь он дневал в публичке.

В первую же смену к нему подошел Стас Железняк.

— В тыщу играешь?

— Играл когда-то по юности.

— Присоединяйся. Игра, считай, без всякого интереса. По копеечке. А без нее нельзя — смысел теряется.

— А как же детишки? Ведь застучат.

— Не бойсь, все схвачено.

Играли в комнате отдыха воспитателей. Диванов, Стас, Пашка Островский и из первого коллектива явился Сёма Мышаков. Время от времени кто-то вставал и проходил по спальням. Опасались двух вещей: побега и мордобоя.

Ближе к полуночи отправлялись на кухню поужинать и пропустить по 200-300 граммов за вредность. Повара всегда что-либо оставляли режимной службе: каши, салатов-винегретов, рыбки, подливки, молочка — мзда за в пять часов включенную плиту.

Не бойсь, оно, конечно, не бойсь, но за три смены проиграл Диванов месячную зарплату и от дальнейшей игры отказался. Играли и в буру, и в секу, но не было везенья ни в одной. Непру-

ха. Понял — не с теми сел. Профессионалы. По копеечке.

По всем статьям, служба его налаживалась методом проб и ошибок. Ещё долго ему шишки набивать.

— Ты не расстраивайся, — сказал Стас, — бывало и хуже. А долг можешь частями отдавать.

С детьми проблем не было. Мелкие войнушки улаживались без значительных потерь со стороны враждующих племен, с активом сложились почти благостные отношения: ты ему, активу, разрешишь у телевизора подольше посидеть, а он, актив, тебе порядок в спальнях обеспечит.

В день зарплаты, а выдавали её чётко десятого (аванс двадцать пятого), подошел к Диванову Паша Островский.

— Традицию знаешь, Юрок?

Коробило Юрия Викентьевича от эдакого обращения, панибратства терпеть не мог, но традицию знал, не первый год замужем.

— И когда банкет выкатываешь?

— Когда скажете. Хоть сегодня. Только где? Ко мне нельзя.

Привести кого-то в квартиру без согласования с Викой — нарваться на катаклизм. А с выпивкой — конец света! Выноси святых! «Яркий пример сыну! Вик такой впечатлительный и восприимчивый! На семью и одного пьяницы за глаза!»

А какой Диванов пьяница? До знакомства с Викторией практически вообще не пил. Фужер сухого вина на какое-либо торжество — и весь запой. Не объяснять же коллегам, что к чему. Да они и не спрашивали.

— Можно ко мне, но лучше к Сёме. У него жена с работы поздно возвращается.

Диванов взял три бутылки водки и задумался над закуской: продуктовые полки не были девственно чисты, но и не дразнили сказочным разнообразием. Да и денег было жалко. Пакетик квашеной капусты, четвертинка хлеба и две банки килек в томате — вот и все, чем разжился он.

Когда все собрались в Сёминой квартире, Юрий Викентьевич погрузился: шесть человек, водка через два часа закончится, погонят за продолжением.

— Ну у тебя и закусок, — присвистнул Сёма Мышаков и потянулся к холодильнику. — Где достал?

На столе появились колбаса полукопченая и

сыр. Не плавленый «Волна» за семнадцать копеек, а голландский со слезой.

— А ты где достаем? — смутился не разучившийся краснеть Диванов.

— Места надо знать, — самодовольничал Сёма. — Хочешь, и тебе достану.

— Мы это позже обсудим.

Тяжело сходилась с режимниками Юрий Викентьевич. Ребята все крутые. В прошлом или спортсмены, или менты. Стас и Сёма — боксеры, Паша Островский в транспортной милиции служил, Володя Пеньков — в горотделе. И только Валентий Граббе (еврей — уже смешно) пришел в школу после физмата. Нагрузки приличной ему не дали, пришлось переквалифицироваться в режимники. Диванову с его мягким характером было трудно противостоять бурному напору коллег, и только с Валею он чувствовал себя раскрепощенно.

— За тебя, Юрок, — начал тоститься Володька.

— Мужик ты вроде ничего, свойский, в контору влился, считай уже наш, так что будь здоров.

— Поднимем бокалы, да сдвинется разум, — подхватился Валентин.

К чему еще не привык Диванов, так это пить водку стаканами. В школе еще понятно: рюмок там не водилось, но и здесь, во вполне благополучной Сёминой квартире, тоже стаканы. И вообще, водке Юрий Викентьевич предпочитал «Токай» или, на худой конец, «Монастырскую избу».

Перпендикулярно польской стенке — высшему признаку престижности — стоял «Красный Октябрь». Диванов поднял крышку, пробежал по припыленным клавишам.

— Расстроен инструмент. Хочешь, я тебе приличного настройщика устрою? Недорого.

— Да ему до фонаря, — хохотнул Стас. — Все равно никто не играет. Мебель.

— Слышал, ты на гитаре клёво бацаешь? — спросил Сёма.

— Могу немного.

— Шас принесу.

Это была не гитара — мечта. Кремона. Купить ее было практически невозможно. Как и все мало-мальски ценное, её можно было только достать.

Репертуар Диванова складывался из песен Галича, Окуджавы, Высоцкого и, как он называл,

песен у костра. «Ну, поедем со мной, ну поехали», «А я еду за туманом», «Над Сахалином низко облака» и тому подобное.

— Нормалек, моёшь, — скупно одобрили, и Сёма разлил еще по одной.

— Я всё, — прикрыл стакан Диванов.

— Что так рано? — удивилась компания.

— Мне на смену сегодня.

— Куда ты пойдёшь? — махнул рукой Стас. — Уже принял сто пятьдесят. А бабы у нас у-у какие унюшливые.

— К вечеру все выскочит, проверено. Двадцать граммов в час.

— Сейчас эту проблему утрясем, — сказал Стас, — пойдем со мной.

Они вышли в гостиную. Железняк поднял трубку и набрал номер проходной.

— Евгений Александрович? Слушай, Женя, Юрий Викентьевич притомился, разреши ему сегодня отдохнуть. Вот и ладненько, — прикрыл трубку ладонью и шёпотом спросил:

— Завтра есть смена?

Диванов кивнул.

— Женя, и на завтра на всякий случай.

— Учись, Юрок, — Стас похлопал Диванова по плечу. — Выкатишь Саньчу чирик за два дня, и смены в табеле стоят.

— А если директор или Саидович спросят?

— Ты побегников ищешь.

«Как все просто, — возвращаясь к столу, думал Юрий Викентьевич, — и на работу не иду, и полтора рубля еще начислится».

1989, август

Трехмачтовый парусник Юрия Викентьевича Диванова медленно входил в тихую заводь. Накануне прошелестел легким бризом слухок об уходе Личанской, что вызвало нешуточную реакцию как среди доброхотов, так и в кругу тайных добранежелателей. Диванов искренне скорбел над ее уходом, горюя большей частью над собой. Когда тебе под сороковник, всякие революционные преобразования, катаклизмы местного масштаба, перемещение метлы из одних неумелых рук в другие, еще более неумелые, не могут вызвать положительных эмоций.

Светлана Андреевна пригласила его к себе дня

за два до педсовета для тет-а-тетного разговора.

— Вы уже слышали? — спросила она, угощая кофе.

Диванов театрально сделал круглые глаза.

— Вы плохой дипломат, Юрочка, — директор впервые назвала его по имени, и Диванов окончательно уверился в ее уходе. — Должно быть, неумение врать вас часто подводит.

Юрий Викентьевич почувствовал, как постепенно раскрепощается, и полусмущенно улыбнулся.

— Это не единственный мой недостаток. К сожалению.

— Слухи о моем уходе ничуть не преувеличены, но прошу вас об этом в коллективе — ни слова. Шататься начнет наш монолитный коллектив. Мы с вами славно поработали, и мне напоследок хочется сделать вам что-нибудь приятное, чтобы вы хоть иногда вспоминали меня.

Диванов ранее не замечал в своей начальнице сентиментальности.

Здесь последовала длительная пауза, за которую Юрий Викентьевич успел допить кофе.

— Еще?

— Спасибо. Не стоит привыкать к хорошему.

В стране свирепствовал дефицит. Купить можно было только конфеты «Подушечка» и кильку в томате. Все остальное — только достать. Появилась каста доставал. Доставали и перепродавали. Стас Железняк относился к их числу и специализировался на женских сапожках. И Диванову грех было жаловаться: Вика была доставалой и далеко не дилетантского разряда, и сам он при случае мог разжиться десятком талончиков.

— Вы в отпуске были?

— Нет. В октябре.

— По всей видимости, а видимость у нас — до горизонта, вам и в октябре сходить не получится. Я увольняю Разговорова...

Юрий Викентьевич привстал и даже присвистнул. Светлана Андреевна рассмеялась.

— Не умеете сдерживать эмоции. Да, да! С первого сентября вы — белая кость и голубая кровь...

— А за что Витюшу?

— За профессиональную непригодность. Я с ним уже переговорила, и он согласился со мной, что лучше уйти подобру-поздорову, чем ждать неприличной статьи.

— Но он...

— Знаю вашу дурацкую шепетильность, — перебила его Личанская. — Все будет сделано самым гуманным образом. Мы подыскали ему очень теплое место в ПТУ. Не самом престижном, но вполне приличном. Недовольных в этом вопросе быть не должно.

Диванов расслабился. Ему крайне не хотелось стать причиной увольнения Виктора Тимофеевича Разговорова и столь же сильно хотелось занять его место. Они не были хоть в сколько-нибудь дружеских отношениях, но сама мысль, которая непременно возникнет у некоторых коллег, мол, подселел убогого, была до омерзения неприятна.

Разговорова за глаза и в глаза называли Витюшей. Даже дети. И хоть годов от рождения он отсчитывал немало, был двусторонне горбат (Квазимодо, да и только), но оставался по-детски непосредствен и перманентно улыбочив. Разговоров пришел в школу в восемнадцать пятном, когда Юрий Викентьевич, напрягая все душевные силы, рвался на освободившееся место учителя истории.

— Учителя я всегда найду, — сказала тогда Светлана Андреевна, — а пионерского вожатого — нет. Найдите себе достойную замену — продолжим диалог.

Диванов и нашел было, но претендентки (три!) директрису не устроили, и педколлективу явился Витюша.

Юрий Викентьевич посетил пару-тройку Витюшиных открытых уроков, но участия в анализе не принял — неинтересно и двусмысленно.

— Вы будете думать над предложением?

— Я могу думать только над формой благодарности.

— Ну, вот еще! — самодовольно улыбнулась Светлана Андреевна. — Я просто обязана была это сделать.

«Конечно, — подумал Диванов, — пионервожатый теперь ей не нужен, а новый директор пусть расхлебывает, как сможет».

Новоиспеченный учитель, подрагивая от нетерпения, поднялся на второй этаж и прошел к кабинету Разговорова. Кабинету истории. Своему кабинету.

За дверью царил полнейший раздрай. На полу валялись тетради, обрывки контурных карт, обломки реек и прочий мусор неясного происхож-

дения. Виктор Тимофеевич подчищал присутствие. Так делали многие. Правда, ротация среди учителей происходила крайне редко.

— Привет, Витюша.

— Здорово, — улыбка разлилась по лицу: рот, глаза, уши, лоб — все улыбалось. — Это я просил полковницу о тебе. Сечешь?

Юрий Викентьевич сёк, хотя и не понимал радости Разговорова.

— С меня банкет.

— Да ладно! Давай я тебе растолкую, где что.

Экскурс занял немного времени.

— А жалко, — сказал Витюша, когда они уселись за задний ученический стол. — Четыре года как-никак.

— Что же уходишь?

— А, достала полковница! Все равно пришлось бы сваливать. А так — и место ничего, и рядом с домом. Да и, между нами, девками, говоря, учитель-то я сраный.

Редко такое услышишь от мнящих себя Спинозами коллег. Каждый если не гений, то талант или, на самый крайний случай, с большими способностями.

— Не прибедряйся, был я на твоих уроках — вполне на уровне. Во всяком разе бывал я в нашей же школе на уроках, которые и уроками не назовешь.

— Нет, приятель. Я так и не научился впихивать в мозги знания. Отбарабанил тему — и довольно, а еще лучше — телевизор. Пацана на шухер, все глазами в ящик. Все равно и так, и так — не знают.

— Н-да, — нейтрально согласился Диванов, — тупой пошел народец. Даже не столько тупой, сколько неинтересующийся.

«Уж я-то сумею, — думал параллельно, — разжечь мальчишеский интерес. В моем багажнике тьма увлекательных исторических баек, анекдотов и полужантаслических случаев».

Расстались они дружески. Каждый с ощущением не понятой другим самой правой правоты.

Почти тут же Диванова перехватила Карина Ильинична.

— Зайдите ко мне, — сказала завуч, поджав губы.

Так же поджимает губы Вика, когда ей предстоит неприятный разговор. Или нужно принять нелегкое решение. И нельзя сказать,

чтобы Карина Ильинична не жаловала ново-
явленного историка, их пути редко пересека-
лись, только на общешкольных мероприяти-
ях, просто ко всякому новому человеку во ве-
ренном ей и ею сплоченном коллективе она
относилась как к проблеме.

— Присаживайтесь, — указала на место чуть не
в конце длинного ряда столов, покрытых зеле-
ным сукном.

«Сразу подчеркнула дистанцию», — невесело
подумал Диванов.

Карина Ильинична шевельнула какие-то бу-
маги и, глядя на Юрия Викентьевича поверх оч-
ков, заговорила голосом судьи, объявляющего
обвинительный вердикт.

— Учителем вы проработали всего год. Этого
очень мало, чтобы стать хорошим специали-
стом. Для становления нужно минимум три го-
да, кому-то — пять, а другому и жизни не хва-
тит. Судя по вашему досье, — Столетова посту-
чала по бумагам, — вы опубликовали ряд инте-
ресных, но спорных работ и предмет знаете, —
на секунду задумалась, — глубоко. Но школе
нужен не ученый и даже не преподаватель, а
учитель. Разницу понимаете?

Диванов мотнул головой. Жест получился не-
определенный.

— Поурочные и тематические планы, — про-
должила Карина Ильинична, — посмотрите у
Витюш... Виктора Тимофеевича, — она впервые
позволила себе улыбнуться. — Они на уровне.
Списывать не советую. Переработайте... твор-
чески. Пока все, — и протянула руку.

Диванову пришлось сделать несколько тороп-
ливых шагов, чтобы осторожно пожать ее. Он
надеялся, что это не выглядело угодливо.

— Желаю удачи.

Ничем не примечательно прошел педсовет.
Собрались всё в том же кабинете завуча и рас-
саживались по чину: во главе Светлана Андре-
евна, по правую руку — Карина Ильинична, по
левую — заместитель по воспитательной рабо-
те Михайлов, далее пионерский вожатый Ди-
ванов и остальные замы: Залетаев — по режиму
и начальник учебно-производственных масте-
рских Уропаев. Учителя и воспитатели постоян-
ных мест не имели и занимали лучшие по
принципу: кто сумел, тот и съел. Но сегодня

рядом с директором сидела куратор из минис-
терства.

— Уважаемые коллеги! — начала Светлана Анд-
реевна. — Вот и закончилось веселое время от-
пусков, впереди долгий учебный год, но времени
на раскачку у нас нет. Серьезная и напряженная
ежедневная работа ждет каждого работника
школы. А для начала я хочу представить коллек-
тиву наших новых молодых коллег. Это Ольга
Николаевна (привстала, кокетливо улыбаясь,
высокая статная девица) и Татьяна Георгиевна
(простушка с виду, худая, руки длинные). Они
будут работать воспитателями уже с завтрашнего
дня. А также хорошо вам известного, но в новом
качестве учителя истории еще не познанного
Юрия Викентьевича...

— Пусть расскажет биографию, — не вставая
с места, выкрикнул Неронов. Он балагур —
ему можно.

Реплика вызвала забытый жеребьячий задор
комсомольских собраний, но Личанская ее не
заметила и деловито передала слово министерс-
кому куратору.

Высочайшее выступление было обыкновенно
скучным, плакатно-призывным и никакой
смысловой нагрузки не несущим.

— Научились говорить, как Горбачев, — жало-
валась перманентный секретарь педсовета Эмма
Рудольфовна. — Полчаса выступала, а у меня в
протоколе только одна строчка.

Славянин Неронов волчком вертелся вокруг
свежайшей Ольги Николаевны. Первое сборище
коллектива шумно скатывалось к финалу.

2002, ноябрь

Теперь отец все чаще приходил поздно, а то
и вовсе не ночевал дома, и Макс угадывал,
что предок иногда бредет другой тропинкой,
на которой ему места пока нет. Всем ливером
он чувствовал, что батяня готовит акцию
экспроприации, как говаривал он сам, и в этой
акции будет место и ему, Максусу.

Воздух был пропитан ожиданием и даже тре-
петом. Максим ничего не спрашивал у отца —
боялся разозлить — с усердием посещал шко-
лу, а после занятий бегом возвращался домой:
главное — не опоздать на экспроприацию. Тя-

желое слово он употреблял с той же легкостью, как и тинэйджер.

К воровству Максим Федосеев относился как к прибыльному беспыльному, хоть и рискованному ремеслу. Он считал, что воруют все (так и отец ему говорил, только он называл это не воровством, а добиранием того, что государство не дало), только одни попадают, а другие всю жизнь выглядят чистенькими.

Он мысленно представлял себе, как они обогащаются, и мерещился ему дипломат с уложенными пачками столлларовых купюр.

Такие чемоданчики он видел в американских боевиках по телеку, купленному батей неделю назад. Хороший ящик, с пультом и разными там таймерами-будильниками. Наверно, доллары Максовы поменял, иначе — откуда деньги? На работу недавно устроился, в авторемонтную мастерскую на другом конце города. Там еще мани вряд ли давали. Вон и сам приоделся, и на матери кое-что новое появилось, и Максу куртка, шапочка и перчатки достались. Правда, не совсем новое барахлишко, second hand, но все равно клёво.

И хоть готов был Макс к любому делу, просьба отца прозвучала неожиданно, и по телу пробежал крупный озноб. Он не то чтобы забоялся, а просто понял — это не пьяных мужичков обирать, это серьезнее.

Отец на листе серой бумаги нарисовал план старой Богоявленской церкви, неведомо почему не пострадавшей ни в период репрессий, ни в оккупацию.

— Вот, смотри, — растолковывал он сыну, — справа от паперти, за углом — первое окно. Не перепутай, где правое. Руку покажи. Верно. Нижнее левое, значит, первое по ходу стеклышко будет не закреплено. Ты его аккуратненько сверху и вовнутрь даванешь, вытащишь наружу и приставишь к стене. Сам пролезешь в церковь, пройдешь вот сюда, отодвинешь засов, откроешь дверь и уйдешь домой. После тебя должно все остаться так, как было. Ни с кем не встречайся, иди дворами, хоть в это время на улицах народу почти нет. Я тебя буду ждать дома. И не наследи там. Возьмешь перчатки. Не те, что я купил. Хозяйственные. Выбросишь их в контейнер где-нибудь между церковью и домом. А завтра мы, на всякий случай, пойдем к причастию.

Что это такое, Макс представлял смутно, но знал, что к причастию допускают только крещеных.

— А вы меня крестили?

— Баба Таня крестила, когда тебе было года полтора, может, чуть больше. В девяносто втором или третьем. Точно не помню. На вот, возьми крестик. Сегодня в шкатулке нашел. Твой.

В церквушке холодно, и трещали свечи. Сначала Максу было интересно. Отец купил четыре свечи, две передал ему, и они поставили — пару за упокой (Макс вспомнил только бабу Таню, а батя долго шевелил губами, видно, список имен был длинным) и остальные — за здоровье.

Входили и выходили попы и что-то непонятное читали нараспев. Откуда-то сверху лилось пение: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй».

Макс извертелся увидеть поющих, но был одернут отцом. «Пусть это будет музыка небес», — решил юный прихожанин.

— Смотри на меня, — прошептал батя, — и делай, как я.

Петр Федосеев на зоне принимал участие в строительстве церкви, а когда её освятили и к ним раз в неделю стал наезжать священник, крестился и стал прилежным христианином. Он не пропускал ни одной службы, ходил на исповедь и каялся в грехах, но ни разу не приходило ему в голову «идти и больше не грешить». У Шишкова ли читано было: разбоем обогател, но построил церкву и тем снискал божью благодать.

Макс неуклюже крестился, путаясь в очередности движений, кланялся резко и никак не мог запомнить слов, которые следовало повторять вслед за попом. Церковное благолепие и потрескивание свечей, резкий запах ладана и падающее сверху чудесное небесное пение — пожалуй, впервые в жизни наводили подростка даже не на мысль — на чувствование возможности другой жизни, существования других благ, кроме материальных, но это чувствование никак не могло перейти в понимание и вызывало раздражение. Он перестал креститься, а стоял истуканом, разглядывая носки растоптанных ботинок.

Отец дернул Макса за руку, тот встрепенулся и вопросительно посмотрел в глаза.

— Иди за мной.

Они встали в очередь слева от Царских Врат. Там свершалось таинство исповеди.

Когда подошёл черед Макса, он занервничал и забоялся вопросов. Ему очень не хотелось врать. Исповедь — это же как генеральная уборка души (где он слышал эту фразу — не помнил, кажется, здесь же, в очереди), но чувствовал, что на некоторые вопросы честно ответить не сможет.

— Сколько тебе лет? — спросил поп.

— Одиннадцать. Скоро двенадцать будет.

— Куришь?

— Иногда. Не часто.

— Грех это. Бросить надо. Пиво-водку пьешь?

— Нет.

— Отца и мать почитаешь?

— Да.

— Иди, сын мой, и не греши.

Максим никак не мог заставить себя поцеловать пухлую руку дьякона, и тогда поп сам ткнул кисть руки в губы, тяжелым крестом едва не поцарапал их, а к Библии, взяв Максов затылок в ладонь, приложил носом.

Отец внимательно следил за исповедью сына, но по его лицу было непонятно — доволен он или Макс сделал что-то не так. Сам Петр исповедался чуть ранее.

Исповедь разочаровала младшего Федосеева своей дежурной обыденностью и даже равнодушием. Никакой генеральной чистки души не состоялось. Почему-то хотелось плакать.

А причастие — маленькая серебряная ложечка крови Господней и мизерный кубик тела Его — вызвало рвотные позывы, которые Максим с трудом подавил. Ко всему спиртному выработалось у него стойкое отвращение с тех пор, когда он в неполные шесть лет смертельно отравился водкой.

Как его тогда откачали? А ведь мог не стоять сейчас здесь, хотя представить себе смерть он никак не мог.

У матери в тот день были гости, и упились они до свинячьего безобразия. Маленький Макс хотел есть. На столе был хлеб и квашеная капуста в тарелке. В капусте торчал окурочок папиросы. Рядом с тарелкой — почти полный стакан водки.

Мальчик помнил, что ему было очень хорошо

и он куда-то летел, совершенно невесомый. Потом полет кончился, он долго падал в бесконечную пропасть, и настала темь.

Очнулся Макс в больнице. Когда с глаз сползла пелена, он увидел капельницу, почувствовал иглу в сгибе руки и только после этого — трезвую маму. Она сидела рядом и плакала.

— Прости меня, сынок, прости, — прошептала она, увидев, что ребенок очнулся.

В руке её был апельсин. Первый на Максовой памяти.

Мать тогда хотели лишить родительских прав, но как-то обошлось.

2003, июнь

Майское тепло сменилось прохладой и сыростью. Стало зябко и дискомфортно, особенно в помещениях школы. Только в кубовой за чашечкой кофе можно было согреться.

Учебный год финишировал, введя в шенячий восторг не только пацанов, но и учителей: впереди итоговый педсовет, косметический ремонт кабинетов и вожделенный отпуск. Но сокращение, словно дамоклов меч, висело над каждым (или — почти над каждым, если и не совсем, то по части нагрузки), скрадывая молекулы радостного предвкушения свободы.

Юрий Викентьевич, как и большинство учителей, приходил на работу к общелагерной линейке (с первого июня школа обращалась в оздоровительно-трудовой лагерь «Романтик»), то есть к десяти часам, брал трех-четыре пацанов и отмывал с ними класс, держа для поощрения в кармане пачку «Примь». По сигарете каждому, доверенному и проверенному, в ком убежден, что не настучит кому-нибудь не только из администрации, но и птичке на заборе, хотя стопроцентно верить кому-либо в этой школе было глупо.

Он давал ребятам задание, запирали их в кабинете и шел потусоваться с завучем, милейшей Лидией Васильевной Гаевой.

Вот и сейчас он вошел в ее огромный кабинет, который был и методическим, и залом для педсоветов и производственных совещаний. Лидочке где-то к сорока пяти, но еще жив в ней женский магнетизм. И красота. Правда, увядающая.

— Привет, Диди, — поздоровался он, убедив-

шись, что в бескрайних просторах кабинета никто не затерялся.

Она оторвалась от бумаг (когда ни зайди — все в бумагах) и с улыбкой заворчала:

— Как надоели вы мне все! То один, то другая, и все по пустякам. Я так до Нового года отчёт составлять буду. Ты посмотри, сколько новых пунктиков напихано. У, бюрократы! Ну, чего тебе?

— Соскучился. Тонус упал. Силы иссякли. Мысли исчезли. Пришел подзарядиться твоей жизненной энергией.

— Рассказывай! — Лидия Васильевна легонько шлепнула его по руке. — Что-то нужно? Выкладывай.

Со стороны их отношения выглядели не просто фамильярными, а даже любовными, хотя любовниками они никогда не были. Уже лет пятнадцать шла игра в бесконечную и безнадежную влюбленность: делались маленькие подарки на дни рождения, Восьмое марта и Двадцать третье февраля (Диванов никак не мог запомнить, как он теперь обзывается), подолгу велись разговоры о беспечных пустячках, но на людях они были строго официальны. Может быть, прояви один из них на джоуль инициативы, и грань игры, как Рубикон, была бы перейдена, но этот неуловимый рубеж полувлюбленности-полуспектакля был куда как более приятен и занимателен.

— Если ты по сокращению, — продолжила любимый завуч, — то я сама ничего толком не знаю. Упаси нас боже не набрать пятидесяти воспитанников, то и меня сократят, в лучшем случае, полставки завуча, чуть физики, чуть черчения. Не знаю. Единственно могу тебе твердо пообещать, что без нагрузки ты не останешься. Часов двадцать с факультативами и консультацией в девятом я тебе наскребу. А что за кошка между тобой и Олегом пробежала? Он уперся, никаких факультативов, но я отстояла.

Лидия Васильевна умела себя подать. Разговора о внеклассных занятиях у нее с директором, скорее всего, не было, но такая подача поднимала её рейтинг.

— Премного благодарен вам, сударыня, — Юрий Викентьевич потянулся поцеловать ей ручку, но Лидия Васильевна одернула её, пошепуршала бумагами и сказала:

— Краску обещали в конце недели.

Диванов понял, что в кабинет кто-то входит, и на обиженном выдохе недовольно пробурчал:

— Я что, класс в отпуске красить буду? Вечно наши хозяйственники дотянут резину, — и оглянулся.

За спиной стояли две нестареющих математички: они как пришли лет десять назад молодыми специалистами, так ими и оставались до сей поры, поскольку свежих вливаний в преподавательский коллектив последние годы не было и в обозримом будущем не предвиделось.

— Лидия Васильевна, — прошебетали они хором, — вы должны до отпуска нам сказать, кого из нас сократят. Ведь кому-то надо будет другое место искать, а в августе все школы уже укомплектованы.

До прошлого года они были подружками не разлей вода. И праздники вместе, и будни. По принципиальным вопросам могли встать в оппозицию и стоять друг за друга, то есть подруга за подругу, до смертного часа. Но едва дело коснулось материального, как дружеские отношения без всяческих переходов перешли во враждебные. Да оно и понятно: своя рубашка ближе дружбы.

— Меня сокращать нельзя! — решительно отрубил Марина Зиновьевна. — У меня дочка, а эта даже не замужем, хоть в мужьях недостатка нет.

Труба Иерихонская. Рост сто восемьдесят пять. Милые ребятки называли ее гордым именем Сабонис. Ходит вообще без каблуков и еще сутулится. Не знает, что её рост — из разряда конкурсов различных мисс. А уровень учительского таланта ниже среднего — к доске с карточкой выходит. Екатерина Федоровна — тоньше, умнее и тактичнее. Кругозор почти энциклопедический. Но и она срывается:

— Я раньше на год в школе.

Есть такой закон, нет ли, но им пользовались ранее.

Юрий Викентьевич хмыкнул, поднялся и молча пошел из кабинета, успев услышать завучево:

— Хватит склочничать и идите работать. Все равно раньше августа никакой ясности не будет. В министерстве бьются, чтобы сохранить школу, претендентов на нее — пруд пруди, возьмите Министерство юстиции, и что из этого получится — одному богу известно.

Диванов направился на третий этаж и еще на лестнице услышал грохот и крики. Он пролетел последний марш и увидел у своего кабинета режимника Большакова. Вениамин Петрович что-то кричал в замочную скважину. Картинка — нелепей не придумаешь. Но не до смеха. Руки у Юрия Викентьевича задрожали так, что он не сразу попал ключом в замок: этой напасти не хватало в конце года. Выговорешник забронирован. Когда они протиснулись, не пропуская друг друга, в класс, картина предстала удручающая: два стола перевернуты, стулья раскиданы, цветочный горшок разбит, а лелеемый кактус сиротливо выглядывал из-под батареи отопления. Макс и Влад, сплетясь, катались по полу и пытались достать противника кулаками по лицу.

Растащили их быстро. Особых увечий на первый обзор не наблюдалось. Реки крови не заливали класс.

— Ну что? Обоих на проходную? Писать объяснительные? — спросил Вениамин Петрович.

Но как, до скрежета зубов, не хотелось огласки! Выговор — на входе не виснет, а вот премиальные (или как их теперь называют? директорские? бонус?) за июнь и частью за год пролетают, как фанера над спецухой.

— Давайте, Вениамин Петрович, сначала сами разберёмся, кто есть ху, а там видно будет, — почти заискивающе попросил Диванов и тут же презирал себя — словно стоял на паперти с протянутой рукой.

Большаков понимал щекотливость ситуации и снисходительно согласился: чего мужику портить репутацию в период массовых репрессий. Да и не стоило подкидывать директору лишних козырей, ведь драка каким-то боком коснется и его: он отвечает за содержание воспитанников.

— Пошли, Владислав, — приказал Юрий Викентьевич и потащил воспитанника в соседний кабинет ИЗО.

— Что натворил сей милый юноша? — спросила изюшка Галина Ивановна Цветкова, прекрасная женщина, способная научить рисовать самого бездарного ученика.

— Даже меня? — спросил однажды Диванов.

— А вас быстрее остальных, — очень уверенно ответила она, но Диванов испытывать не стал, дабы не уронить престиж учителя.

— Я думаю, Владик решил не выпускаться в

этом году, — задумчиво глядя в окно, произнес Юрий Викентьевич.

— Да что вы, Юрий Викентьевич, пугаете! Не выпустят, ну и фиг с ним! — крикнул не остывший еще Влад.

— Не кипятись, успокойся. Лучше поведай нам с Галиной Ивановной по-приятельски, отчего весь сыр-бор?

— Никакого бора не было! — все не успокаивался Влад. — Мы просто боролись. Пospорили, кого переборет. А Макс мне подсечку сделал, это не по правилам, вот я внизу и оказался.

— А-а, ну это меняет дело. Вот только бороться в спортзале нужно, можно на лужайке, на траве-мураве, а в кабинете истории должен почитаться прах веков и тысячелетий.

По Юрию Викентьевичу никогда не понять, он шутит или говорит всерьёз, но Влад сообразил, что докладной не будет, успокоился и даже повеселел. В этом возрасте от печали до радости — мгновенье.

— Галина Ивановна, ключ от туалета у вас? Дайте, пожалуйста.

Диванова раздражал постоянно закрытый туалет. После первого, третьего и пятого уроков его открывал дежурный учитель и следил, чтобы использовался сей кабинет по прямому назначению и ни в коем случае — в качестве курилки. Во времена оголтелой демократизации и либерализации, когда всем детишкам от одиннадцати и старше разрешили курить в специально отведенных местах и в назначенный час, ввели это правило, и потом, после запрета, оно так и осталось в силе.

Галине Ивановне нужен был постоянный доступ к воде для акварельных красок и мытья кисточек, поэтому второй ключ был у нее.

— Приведи себя в порядок, борец за справедливость, — продолжил Диванов, открывая туалет, — и в класс — живо. Будем делать работу над ошибками.

— Какую работу?

— Придешь — поймешь.

— А что вещает Максимилиан, Вениамин Петрович? — спросил Диванов, входя в свой кабинет.

— Да вот заладил одно и то же: я шестаком не был и не буду, а что, почему и как — молчит, будто рыба об лед.

— Владислав заявил, что они просто боролись.

— Ага, за права нацменьшинств.

— Спасибо, Вениамин Петрович за участие и помощь. Далее я сам разберусь и приму решительные меры для искоренения и предотвращения.

— Ну, и ладненько, — взбодрился Большаков: возиться с бумагами ему до щекотки не хотелось.

Вернулся Влад.

— Такая задача стоит перед тобой, мой юный друг, — обратился к нему Юрий Викентьевич, — вот этот взращенный и любимый мной кактус, этот символ недостижимой Мексики... Ты знаешь, где Мексика? Нет, не в Карелии. Так вот, мой кактус должен еще долго жить, дольше меня. А посему мне не важно, где ты добудешь горшок, может, сам встанешь за гончарный круг, меня это не интересует. Землю возьмешь у теплицы и с любовью, повторяю, с любовью пересадишь это чудо природы.

Ну, конечно, Диванов отдавал себе отчет, что, отправляя парня за горшком, он толкал его на воровство. А что делать?

— Дак меня из школы не выпустят.

— А вот тебе карточка доверия. Видишь, Владик, я тебе доверяю, так что ты уж не подведи меня. Действуй-злодействуй.

Карточка доверия представляла собой картонку размером 3x5, на которую наклеена белая бумажка, извещавшая, что предьявитель сего может передвигаться по территории школы в одиночку, без сопровождения взрослых. Во всех остальных случаях одиночное хождение было запрещено. Здесь следует заметить, что к этому запрету и взрослые, и дети относились наплевадельски и он повально нарушался.

— А ты, — обратился он к Максиму, — двигай за мной.

Макса ознобно передернуло.

«Бить, что ли, будет?» — подумал он, входя в туалет.

— Что ты дрожишь, как нашкодивший щенок? — спросил Юрий Викентьевич. — Давай мойся, приводи себя в порядок.

Горячую воду уже отключили, и Максим едва намоченными пальцами слабо водил по лицу.

— Да ты мужик или балалайка? — Диванов обхватил воспитанника за шею, открыл мощнее кран и несколькими пригоршнями до красноты растер юное личико.

Федосеев повизгивал, но не вырывался.

— А теперь, гусар, давай побазарим не как учитель с воспитанником, а как мужик с мужиком. Не кривься, не надо. Мы с тобой не по разные стороны баррикад, а в одной упряжке, только ты пытаешься тащить в другую сторону. А оно тебе надо? Вот ты пораскинь мозгами, если они у тебя имеют место быть. В середине августа исполнится три месяца, как ты в школе. Тебя на недельку могут отпустить домой, если, конечно, не прокозлишься и сдашь на первую ступень. А сегодня у тебя прокол. Владу что? Ему все по барабану: он сирота и ехать ему некуда. В августе он все равно выпустится. В школе и директор, и завуч, и старший дежурный по режиму. Драку скрыть почти невозможно. Отношения можно выяснить в более спокойном месте и в бесконтрольное время. Спальня большая, ночь длинная. Ты меня понимаешь?

Макс кивнул головой.

— А без ступени не отпустят?

Каждый последний понедельник месяца проводилась аттестация воспитанников, и по ее итогам выставлялся рейтинг каждого. Под самым черным градусом шла неаттестация. Неаттестованных было немного: побегники, участники драк с последствиями, сексуальные домогатели. Их держали в узде: ни выходов в город, ни свиданий, ни прочих поблажек. Аттестованным было полегче: они могли с отрядом выезжать на внешкольные мероприятия. Далее шли три ступени доверия. Первая давала право на отпуск, если было куда отпускать, вторая — еженедельный выход в город, а третья делала воспитанника как бы вольноопределяющимся или, как на зоне, расконвоированным, — он был свободен в передвижении. Впрочем, третью ступень на памяти Юрия Викентьевича имели человека три, от силы — четыре.

— Значит, так и запишем: угрожал. Что вздрогнул опять — шучу. Вашу потасовку спишем на спортивную борьбу, только сам не трепись: в школе, если успел заметить, стукач на стукаче и стукачом погоняет. Врубился?

Макс понял только одно: туча пролетела и надо помалкивать, а он и так не был разговорчив.

— Пошли в класс порядок наводить.

А навстречу им поднимались Большаков с Владом.

— Юрий Викентьевич, вы точно отпускали этого гения ушу? А то они приловчились на компьютере карточки лепить.

— Да. У него сверхважное и сверхсекретное задание. Подожди секунду, пойдем покурим.

Диванов дал задание Макс, закрыл дверь на ключ, и они спустились к выходу. Можно было курнуть и в туалете, но потянуло на свежий воздух — охолонуть после баталий местного масштаба.

— Думаешь, проскочит, Юрок? — спросил Большаков, поминутно взглядывая из-за угла на входные двери. По последнему приказу светлейшего курить на территории школы было запрещено, и всякий, обнаруженный с сигаретой, наказывался уменьшением размера премии. А то и вовсе её лишением.

— Бог не выдаст — свинья не съест.

— Зря ты Влада отпустил, рвануть может.

— Не должен. Ему в августе выпускаться.

Курили спешно. Трепались ни о чем.

К обеду в кабинете ничто не напоминало о схватке Давида с Голиафом. Или Пересвета с Челубеем? Кактус в новом горшке, на котором находчивый Влад рассыпал кистью белые горошины, занимал приличествующее ему место напротив учительского стола, мебель расставлена, полы и стены вымыты, настроение у всех благодушное.

Линейка началась с трагического сообщения.

— Сегодня мы получили тяжелое известие, — приглушенно и глядя на строй невидящими глазами, говорил Олег Дмитриевич. — В Чечне погиб наш бывший воспитанник Марат Литвинов. Почтим его память минутой молчания.

Скорбь директора не была поддельной: Марат был его подопечным или попросту — сынком.

Диванов вздрогнул. Он помнил Литвинова. Середнячки обыкновенно не запоминаются. Через год уже — ни фамилии, ни лица. В память врезаются чаще всего поступки-проступки. Но Марат был из его свинской бригады, а тех Юрий Викентьевич помнил полично. Да и не совсем середнячок — чем-то выделялся, но Диванов никак не мог вспомнить чем. Не великого ума, но — личность. И грустно сделалось ему.

«Сколько же пацану было лет?» — рассчитывал Диванов. Получалось — вокруг тридцати. Нет,

меньше. Но все равно получалось — служил по контракту.

1979, май

Сергей Сергеевич держал свое слово, и Диванов делал карьеру. Теперь он старший дежурный по режиму. Сутки через трое. Лафа. Есть время и в публичке посидеть, и в Питер съездить, где у него появились единомышленники. Точнее — они были задолго до открытий Диванова, просто он не знал о них. Всё было на уровне полупулегалном, кружковщины.

День протекал тяготно: пока занятия — в школе вместе с Володей Пеньковым следить за порядком, но эксцессы случались нечасто, и часовая стрелка казалась приваренной к циферблату; после обеда — между спальным корпусом, стадионом и мастерскими, здесь уже вольготнее, но все равно продолговато. И только после отбоя, когда уметался последний воспитатель, наступало блаженство одиночества.

В новую работу Диванов не кинулся, как в омут, а входил осторожно, боясь ступить не туда, как это случилось на отряде.

Тогда его попросили взять подъем — заболела воспитатель, — и он согласился, не зная ни порядка, ни распорядка. Диванов по характеру был безотказным, да и рубль-другой не тянул карман.

Знакомство с отрядом началось со скандала, когда он взорвался, как десять тонн тротила, увидев, что командиру отряда какой-то шестак заправляет постель. Он постоял-посмотрел до последнего штриха на покрывале и разрушил все великолепие до основания.

— Чья кровать?

— Моя, — нагло улыбаясь, ответил воспитанник.

— А до этого чью заправлял?

— Ничью не заправлял.

С новенькими воспитателями всегда так обращались: они не знают имён-фамилий и кто из какого отряда, и, уж тем более, кто где спит. Юрий Викентьевич этих ребят практически не знал, поскольку в ночь ходил на второй коллектив. Он не поленился, сходил за дежурным воспитателем, а та прошептала ему на ухо:

— Закройте глаза, ничего страшного, у ко-

мандира и так жизнь хлопотная, а вы же не постоянно...

Но он закрывать глаза не стал, записал замечание в рапорт, нашел командира и приказал заправить свою постель, щелкнув при этом пальцами. Этот жест показался ему наиболее убедительным. Откуда было знать ему, неискушенному, что делать этого нельзя? Что щелканьем обращаются только к шестеркам?

— Я тебе кто? Петух от параша? Тебя, может, и драли в задницу...

Юрий Викентьевич дослушивать не стал и с разворота отвесил лещовую пощечину.

Командир упал на кровать и оттуда:

— И бьешь ты по-бабьи.

— Ты по-мужски не заслуживаешь.

Неделю не мог отмыть пролившуюся на него грязь от этого бугра, а самое главное, от приболевшей Галины Павловны.

— На пушечный выстрел не подпущу к отряду, — кричала она, приберегая ненормативную лексику для более тяжелых случаев.

И теперь Юрий Викентьевич делал шагжки осторожные, более присматриваясь и копируя, нежели действуя самостоятельно.

В ночную смену обыкновенно выходило шестеро режимников — по три на коллектив. Двое на втором этаже — там четыре отряда, и один на третьем — с одним.

Скоро Диванов понял, что главная забота старшего не дети, а взрослые. Бывали время от времени смены спокойные, когда любимая служба развлекалась просмотром фильмов в актовом зале под тихий стрекот узкоплечного аппарата «Украина», а бывали и такие — святых выноси.

И та смена, из которой вылепился первый выговор, ничего катастрофического не предвещала. Все вышли, все трезвые... А в половине одиннадцатого пришел на проходную Семен Мышаков.

— Слышь, начальник, — развязно начал он, и стало ясно — причастие состоялось. А почему бы и не быть развязным? Ему Диванов тридцать карточных рублей должен. — Мы с Саней до кабачка смотаемся, к полночи вернемся. Ты не дрейфь, в коллективе все чики-пики, актив работает, и Стас Железняк — как стекло. С нас бутылец портвешка марочного, идет?

— Нет, ребята. Договоримся так: я вас не отпустил и если кто с проверкой придет — вы ушли

через забор. На проходной я вас не видел, — Юрий Викентьевич глянул на часы. — В двадцать три тридцать пять проверял коллективы — все были на месте.

— Хорошо, Юрок.

Сёма вызвал такси, и приятели уехали.

К двенадцати не вернулись. К часу пополуночи — тоже. Диванов всполошился, забыл и думать об обещанной бутылке вина и отправился инспектировать коллективы. В первом ему открыл заспанный Паша Островский.

— Делать тебе нечего, — проворчал он. — Работать мешаешь.

Но прошел вместе с Дивановым по спальням. Пересчитали детей — все на месте.

Во втором встретил его Железняк.

— Не спишь, командир? Может, в картишки?

— Увольте, батенька. Где Мышаков и Кувалдин?

— Спят.

— Врешь!

— Сам посмотри.

Диванов прошел в спальню седьмого «Б». Там на двух свободных кроватях спали кабацкие друзья. Или делали вид, что спали.

«С винишком меня накололи», — весело, не обижаясь, облегченно подумал Юрий Викентьевич, умелся к себе и завалился на диван. Старшему дежурному, в отличие от ночных, разрешалось вполглаза вздремнуть.

А утро навалилось разборкой.

Он уже собирался уходить, когда приехала милиция. На проходную поднялись двое в гражданском, видимо, с ночного, как и он, дежурства. Первый мельком показал удостоверение, второй не снизошел.

— Дежурные по режиму на месте? — спросил первый.

— Уже сменились.

— Назовите, кто дежурил.

Диванов назвал.

— Мы пройдем к директору.

И тут бы уйти: смена пришла, время бежало уже личное, свободное, так нет — остался покурить с народом.

Телефонный звонок был до оторопи неприятным, а голос директора походил на глас секретаря Страшного суда. У Диванова было чрезмерно развитое чувство опасности. Неп-

риятности он ощущал задолго до их возникновения.

— Кто из режимников покидал территорию школы этой ночью? — спросил Сергей Сергеевич, едва Диванов переступил порог директорского кабинета.

— Никто.

А дело оборачивалось уголовщиной. Двое мужчин, предположительно, работники школы, проезжая на такси по улице Горской, вышли из машины и избил супружескую пару, возвращавшуюся домой с банкета. Женщина с черепно-мозговой травмой была доставлена в больницу скорой помощи. Судя по описанию, одним из скуловоротов был Мышаков. Впрочем, не одним из, а единственным, поскольку Кувалдин своих кувалд к лицам не приложил. Надобности не было.

Позже сам герой рассказывал об этом.

— Дорога, сами знаете, какая, двум машинам не разъехаться, а тут пара идет посредине, на сигнал — ноль вниманья. Метров сто за ними ползли. У автобазы, знаете, чуть пошире, водила — влево и по газам, так этот мудака — кулаком по багажнику. Ну, я таксёру — стой. Вышел из машины, показал с правой, тот головой уходит, а я с левой — мужик стёк. А тут баба на меня, в руках туфли с такими каблуками и лупцует по голове. Ну, я ей один утюг, она даже не согнулась, так столбом и рухнула, да головой о поребрик.

— Вот товарищи из уголовного розыска утверждают, что наши... работнички кулаки приложили.

— Не знаю, Сергей Сергеевич, — Диванов старательно не смотрел на сотрудников в штатском. — Через проходную никто не проходил. Как только ушли воспитатели, я — дверь на замок. В час ночи проверил коллективы — все были на месте. В журнале дежурств — соответствующая запись.

— Пишите объяснительную.

— Что писать? — растерялся Диванов.

— Что рассказали, то и пишите.

Едва за равнодушными следователями закрылась дверь, Каратаев без обиняков, глядя в упор, спросил:

— А теперь честно, уходили?

Юрий Викентьевич обладал патологической неспособностью врать. И сейчас он покраснел, отвел глаза, но ответил твердо:

— Нет.

— Эх, молод ты еще, жизнь не была, — сказал директор, хоть был старше его всего на три года. — Ты этих ублюдков покрываешь, а они тебя сдадут. И любого сдадут. Для них кодекс чести не писан. В нашей школе все стукачи, — посмотрел на Диванова и, ухмыльнувшись, добавил, — кроме тебя... И тех, кому не на кого стучать. Ты еще только подумал, а Хаджи уже знает, и Женька Гусев знает.

Так и случилось. Даже хуже. Мышаков (не понять, для чего?) сказал, что старший дежурный их отпустил, вот если бы не отпустил, то ничего подобного и не произошло бы. В итоге Диванов и Кувалдин получили по строгачу, а Мышакова быстренько уволили по собственному желанию, и тот, нажав на только ему ведомые кнопки, получил свободу передвижения, и — любимый город может спать спокойно.

Урок не впрок. Дважды наступить на грабли — сплошное удовольствие. В каждом русском есть что-то от душевного мазохиста. И произошло это два месяца спустя.

Проходная представляла собой Г-образное одноэтажное здание, в котором разместились вахта, комната отдыха старших дежурных, она же — место проведения производственных банкетов, карантинная комната, в которой трое суток выдерживались новоприбывшие, кабинет помощника директора по режиму, бухгалтерия, сапожная мастерская и три каморки карцера, которые иногда пустовали.

Диванов сидел над «Историей математики» Рыбникова, когда на проходной явился Студент. Он в школе работал по совместительству и только потому, что отец его служил здесь же сантехником — специалистом важным и затребованным по причине ветхости водопроводно-канализационного хозяйства. Студент учился в пединституте на факультете физического воспитания, был собой статен и по мужски красив. Режимная служба наполовину из физвосников состояла.

— Что будет, — любил спрашивать выпускник этого же факультета, чемпион города по боксу в полутяжелом весе, а ныне изгой Мышаков,

— если всех из физвоса построить вдоль речки Горянки?

Смеялся заранее и тут же отвечал:

— Дубовая роща.

— Юрий Викентьевич, — виноватаясь, попросил Студент, — у меня проблема: студентка-заочница не успела на поезд, можно она до утра на проходной перекантуется?

— Ну, вы, мужики, дайте! В изоляторе — двое, в карцере — двое. Куда я твою подружку дену? Рядом с собой?

— Так один же карцер пустой. А если она не против — можете и рядом с собой. Не проблема.

— Да пошел ты! Ладно, валяй, но чтоб к шести ее духу на проходной не было.

Девушка как девушка. Даже стеснительная на первый взгляд. Студент ее устроил и ушел на коллектив.

Но на следующий день только и разговоров было, что вытворял Студент в камере с какой-то девкой. Ума не мог приложить Юрий Викентьевич, когда этот донжуан местного разлива проник туда. Стеночки между карцерами тоненькие, и что творится в соседнем, слышно без усилителя звука.

Всегда уравновешенный Сергей Сергеевич взорвался.

— Какого черта! Мальчишка у тебя за стенкой шлоху дерет, а ты с детским лепетом — переночевать ей негде! Даже пусть и так. У нас не ночлежка, а режимная школа! Увольняю! По статье!

«Какой-то я пластилиновый, — самоедрствовал Юрий Викентьевич в автобусе, покачиваясь на задней площадке. — Не умею сказать нет. Не создан я для этой школы. А для чего создан?»

Не найдя ответа, направился мимо дома в публичную библиотеку. Но и из дали веков молчаливые вещуньи решения не предложили.

Увольнять Диванова Сергей Сергеевич не стал.

— Пусть хоть один порядочный останется... на рассаду, — сказал он Гусеву. — Решешь наказать своей властью — валяй.

— Завтра — в командировку, — приказал Евгений Александрович. — В Иваново. За Морозовым.

Было ли это наказанием — сказать трудно. Многие ездили с удовольствием, кто-то с неохотой, а Юрия Викентьевича до сих пор бог мило-

вал: обыкновенно тех, у кого детишки малые, за тридцать земель не отправляли.

— Один? — удивился Диванов.

Обычно за побегниками ездили по двое. Отвозить выпускников мог и один — риска никакого.

— Сам видишь, людей нет. Четверо на больничном. Много заказов не бери, а мне привези палку вареной, палку твердокопченной, на остальное — сыру, — Гусев протянул деньги.

В стране развивался непонятный на первый взгляд процесс: провинция молочно-мясную продукцию отправляла в Москву и Ленинград, а провинциалы ездили в столицы за своей же колбасой. Может быть, это нужно было для развития транспортной системы?

Диванову припомнился анекдот:

«Леонид Ильич выступает на очередном партийном съезде:

— К 2000-му году каждая семья будет иметь персональный самолет.

Голос из зала:

— А зачем?

— Какой же вы недалекий! Ну, скажем, живете вы в Архангельске, а во Владивостоке колбасу выбросили».

Коля Морозов установил рекорд по длительности побега: его не было в школе уже четыре месяца.

Заказов все-таки натолкали. Пришлось составить список: кому, чего и сколько получено денег. Диванов был в раздумье: закупать продукты по пути туда или на обратном? Оба варианта были нехороши: неизвестно сколько времени займет поездка от Москвы до Иваново и назад, а дни стояли теплые, и продукты могли подпортиться, но и ходить по магазинам со спецпом по побегам тоже было не с руки. Инструктаж преддорожный просвистел мимо ушей, куда и в каких случаях обращаться, он не помнил.

Был выбран второй вариант, и уже в Иваново огорченно обрадовался этому: ехать предстояло в Шую. Наш пострел везде поспел: отметился в городе с революционным прошлым нехилой кражей.

Диванова пристроили на ночь в детприёмнике, но утром он пожалел, что клюнул на халяву, поскольку гостиница обошлась бы куда дешевле дружеской попойки.

Была мысль пройтись по древнему городку,

но вселенская засуха и скоротечность передачи блудного сына спецшколы не дали ни малейшей возможности.

Колька Морозов встретил Юрия Викентьевича радостно, как жители освобожденной Вены Красную Армию. Парнишка он обаятельный. При разговоре ловит каждое слово, отвечает впопад, а его огромные голубые глаза — честные-пречестные.

— Наконец-то едем в школу, — тяжело вздохнул беглец, когда за окном мелькнули последние шуйские строения. — Больше я никогда, клянусь чем угодно, не побегу.

— Верю, — Юрий Викентьевич кивнул головой и открыл бутылку пива.

В купе они были одни, да и в вагоне до Владимира было просторно.

Зашла проводница за билетами. Диванов показал ей удостоверение и улыбнулся.

— Я сопровождаю малолетнего преступника, поэтому, по возможности, не подсаживайте попутчиков и не удивляйтесь, если к нему буду приходить не совсем светское обращение.

Проводница ойкнула.

— А почему он не в наручниках?

— Не имею права — малолетка, — понты, конечно, но важные, потому как действенные.

За окном мелькали пейзажи средней России. Накатывало ощущение езды по самой истории.

«Господи! — помолился Диванов. — Отправь меня сюда в командировку еще раз, дай пройти по улицам Владимира и Ярославля».

В Бога он не верил, но обращался к нему часто и все мысленно, памятуя слова случайной старушки из новочеркасского храма: верь не верь во Всевышнего, а помолись в тяжелую минуту. Хуже не станет.

— Давай, друг мой Колька, поедим, — Юрий Викентьевич достал из портфеля снесь. Разложил, порезал. — Приступай, не сиди истуканом.

Чувствовалось, мальчишка проголодался — уминал за обе щеки, не забывая нахваливать.

— У вас всё вкусно, как у мамы.

— Ты льстец, — сказал Диванов, — но меня этим не прошибить. Еда как еда.

Он выпил ещё бутылку пива и лениво разжевал бумерброд с колбасой и сыром.

«Вот оно — действие спецухи, — подумал Юрий

Викентьевич, разглядывая пустую бутылку, — пиво с утра».

— Что же вы сами не едите?

— Не обращай внимания, ешь.

Мелькнули и исчезли купола владимирских церквей, но мысли дивановские почему-то были не с ними, а с владимирской тюрьмой, по словам — самой страшной тюрьмой России. В ней сидел любимый поэт Даниил Андреев, чьи машинописные на папиросной бумаге стихи ненадолго попали в поле его увлечений и он успел сделать с них копии.

Народу в вагоне прибыло. Подсели и к ним.

— Юрий Викентьевич, — жалобно простонал Морозов, — я в туалет хочу, живот прихватило.

— Потерпи. Поезд тронется — пойдем.

В туалет направились вместе: хоть и клялся Николая никогда больше не бегать, да бережёного Господь бережет.

— Ты не запирайся, я покараулю тебя от происков врагов нравственности, — попросил-приказал Юрий Викентьевич.

Поезд замедлял ход. Остановки еще не должно было быть, стало быть — и причин для волнения.

Подошла проводница, и Диванов перекинулся с ней парой фраз, но на возможный дорожный флирт не отреагировал — не та ситуация.

Прошло минут пять, а Колька все не выходил.

— Веревку проглотил? — крикнул он в дверь.

А в ответ — тишина.

Диванов постучал — пусто. Дернул ручку — закрыто. И тут он вспомнил, как после очередного побега Коля Морозов пытался повеситься в карантинной комнате на простыне. Слава богу, не в его смену. Тогда решили, что это была имитация суицида, вероятно, знал пацан, что после этого отправят его в психушку, откуда легче сделать ноги. Но отправили его в отряд под присмотр актива и режимной службы и слухам растечься не дали. Зачем школе лишнее пятнышко на и так не безупречном зеркале?

Юрий Викентьевич побледнел и покрылся бисерным потом.

— Откройте, откройте! — застучал он в дверь проводницы.

— Что случилось? — перепугалась женщина, увидев перекошенное лицо пассажира.

— Туалет, туалет откройте! Там что-то случилось.

Но туалет был пуст. В открытую фрамугу врывался мягкий железнодорожный воздух.

И забегал Диванов: к бригадиру, к милиционеру, сопровождающему состав. По рации связались с транспортными отделами внутренних дел Владимира и Петушков — им передали ориентировки.

Вернулся на своё место и задумался. Опять всё складывалось хуже некуда. Теперь Каратаев точно уволит. Уж лучше бы за пьянку — национальная болезнь, а с профнепригодностью — только в оправдому.

Вечер он посвятил продуктовым магазинам и исполнил все, что было в списке, надеясь хоть этим себя частично реабилитировать в глазах руководства, чьи заказы превалировали.

Однако дивановский провал катаклизма не вызвал. (Не колбаса ли саммортизировала?) Влетело больше Гусеву.

— Ты почему, едрит-ангидрит, необъезженно-го работника одного отправил? Вот вычту из твоей зарплаты его командировочные, начнешь яснее соображать, — разорился Сергей Сергеевич.

Будто не знал, что одного, — сам приказ подписывал.

В начале этой тирады Диванов из кабинета вышел, дабы не присутствовать при унижении своего начальника, но и из предбанника все слышно.

Через три дня Юрий Викентьевич снова командировался. На сей раз вместе с Железником и не в Иваново, а в Ярославль: тамошняя милиция прихватила Морозова на краже куртки.

Господь услышал железнодорожную молитву Диванова.

— Я тебя, Юрок, научу в командировки ездить, — сказал Стас. — Билеты берем плацкартные.

— Почему? — обиделся аристократ Диванов. — Ведь нам оплачивают купейные.

— Мы и сдадим купейные. Шоколадку проводнице — и ваши пляшут. А разница в цене — наша. Учись, пока я жив.

Диванов пожал плечами, мол, делай, как знаешь.

В Москве, несмотря на Стасовы уговоры, останавливаться не стали.

— Ну, ты что? Скажем, что билетов не было. Да нас никто и не спросит.

— Давай лучше в Ярославле тормознёмся. Сто лет мечтал побывать в этом городе.

— Волги, что ли, не видел? Большая речка, но грязная.

— Карабихи не видел. До лампочки мне Волга, — лукавил Юрий Викентьевич и в подробности вдаваться не стал: всё равно не поймет его спортивный приятель.

Волга и на самом деле оказалась грязной. «Видь на Волгу, чей стон раздаётся? — саркастически подумал Юрий Викентьевич. — Времена меняются, теперь река стонет».

Они взяли обратные билеты на завтрашнее утро, сняли в гостинице двухместный номер, отметились в детприемнике и разбежались.

Диванов решил покрыться пылью веков и направился в историческую часть города. Повосторгался храмами, ойкнул у театра Волкова, нафотографировал на двести тысяч и усталым и разочарованным вернулся в гостиницу. И скоро понял причину своего неудовольствия: никакой пыли веков, декорация к историческому фильму. Не история, а профанация. Не получалась булгаковская машина времени. Все смешалось: позолота шатров и неназойливые рекламы: срочный вклад дает доход три процента каждый год; или: тот, кто кофе утром пьет, целый день не устает; монашка, собирающая пожертвования на часовню, и едва прикрытые девицы, предшественницы путан.

Стас в номер явился только под вечер.

— Идем в кабак, — с порога возвестил он.

— А может, в номере расслабимся? — робко предложил Диванов.

— Нет, старик. Музеи ты посетил, теперь пора узнать Ярославль кабацкий.

Оригинальное название издали манило неонном: «ВОЛГА».

Но всё было вполне прилично и не очень дорого. Стас рыскал глазами по залу, выискивая жертву, вскакивал, танцевал, а Диванов вдруг почувствовал убийственный голод и налёг на закуски.

— Ты чо, сюда жрать пришёл? Вон, глянь, те девки за угловым столиком легко снимаются.

Диванов глянул. Встретил бы на улице, не подумал, что съёмные. Ничего вызывающего. Он изначально принимал незнакомца хорошо. И это было причиной многих разочарований.

Девиц в гостиницу проташить не удалось. Бдительная администратор цербером стояла

на охране ярославской нравственности. Железник не успокоился, но уломать Диванова на пленэр не смог.

Утром Стас был никакой. Он ночью раскатал с девицами две бутылки водки, закусывал щавелем, кувыркался в мураве, по его словам, с обеими, в номер явился в шесть утра, и Юрий Викентьевич с трудом раскатал его к девяти. Только пиво из гостиничного буфета и помогло.

На поезд едва успели. Колька Морозов, напуганный Стасовым подзатыльником, был сжат и молчалив.

В Москве договорились с линейной милицией и закрыли Коляна на шесть часов — до поезда. Обошлась услуга в десятку. Всё-таки с Железником ездить было, как ребёнку с родителем, — без забот. Диванову и в голову бы не пришло предлагать ментам деньги.

— Пойдем, глянем на Ильича, — предложил Стас. — Сколько бывал в Москве, а в Мавзолею не был.

— Ничего там интересного — восковая кукла.

— Да ну?

— А ты хотел с ним за руку поздороваться? Пойдем лучше в Третьяковку. Или в Музей изобразительных искусств?

— Брось ты! Купи альбом и любуйся.

Так и не договорились. Железник направился поклониться вождю мирового пролетариата, а Диванов — к импрессионистам. Встретились через три часа и — бегом по главным достопримечательностям — магазинам.

Вернулись на Ленинградский вокзал выучными животными — разве что в зубах не было пакета, забрали голубочестноглазого, и Стас потащил его в туалет.

— Снимай штаны.

Колька задергался и заплакал, но не очень искренне, больше из тщетного желания разжалобить.

— Не бойсь, бить не буду. Труссы тоже снимай.

— Зачем это? — поразился Диванов.

— Увидишь.

— Ну, и грязный же ты! Когда мылся? Поди, ещё в школе? Скручивай трусы. В жгут, в жгут. Теперь — восьмеркой. Ещё раз. Надевай. Бегать ему сложно будет, — Железник подмигнул Диванову.

Юрия Викентьевича передернуло.

— Да ты садист!

— Это еще не всё, — Стас достал два коротких ремешка и привязал их одними концами к сумкам, другими — к кистям Морозова.

— Порядок! — удовлетворённо крикнул. — Пошли.

Может быть, меры были приняты и жесткие, но убежать в вокзальной толчее было проще простого, а в эдакой экипировке — невозможно.

На всем пути до вагона благоразумный Коля не сделал ни малейшей попытки обрести свободу. Опять ехали плацкартом. Стас уже успел договориться с полужнакомой проводницей соседнего вагона о купейных билетах. На этот раз — за так. Коля, освобожденный от сумок, но все ещё в скрученных трусах, понуро сидел у окна. Рядом с ним — Диванов. Напротив — Стас.

— Я думаю, в туалет тебе не скоро понадобится, — изрек Железник, раскладывая на столике еду. — Поешь ты только в школе. Усёк?

— Кончай издеваться, — взорвался Юрий Викентьевич, раскрыл свою сумку, подал Морозову два жареных пирожка и налил стакан недавно появившейся новороссийской пепси-колы.

— Смотри, какой добренький, — усмехнулся Стас. — На очко вместе с ним ходить будешь?

— Потребуется — буду.

— А он снова ноги сделает. Отвечать тебе — ты старший. Ладно, давай расслабимся, — Стас достал бутылку водки.

— Не хочу.

— Да брось ты, я угощаю.

— Не обижайся, на самом деле — не хочу.

Юрий Викентьевич задумался. Ему стало представляться, что он совсем одинок в этом несуразно жестоком мире. Его выворачивало от приёмчиков Железняка, но сказать, что появилось чувство неприятия или (упаси, Господь!) ненависти, он не мог.

«Это просто другой мир! — озарило Диванова. — Совсем другой, параллельный, с иными законами. И Колька Морозов тоже из того мира. Он своё унижение воспринимает как норму, а когда сумеет — сам унизит, и еще круче, еще изощреннее. Спецуха».

Диванову очень не хотелось в этот параллельный мир с его дурацкими этическими ценностями, но надо было выбирать: или принимать его законы, или решительно распрощаться с ним.

Из преддепрессивного состояния его вывела Лидия Васильевна Гаева — секретарь партийной организации и учитель физики. С ней его познакомил-свёл Неронов. До этого — здрасьте-до свиданья. Милая, симпатичная, чуть кокетливая женщина. Но с претензиями. Далеко не сразу понял Диванов — какими. Они с первой встречи стали накоротке.

— Тебе сам бог велел вступать в партию, — сказала Лидия Васильевна. — С твоей-то родословной!

— Бог и компартия — понятия несовместные, — улыбнулся Юрий Викентьевич.

— Не придирайся! Фиг с ними, с убеждениями. В партию не вступишь — карьеры не сделаешь. Каждый директор — член партии.

— Каратаев — не член.

— Один на весь город! И протеже министра!

Но Диванов не имел убеждений. Никаких. Убежденность, он считал, — удел недоумков. Ни одна идея не живет дольше одного поколения. Меньше. Глубокое изучение истории убедило его в этом

1991, март

Изасвистели ветры перемен. Страна стремительно перекрашивалась. Стадия первоначального накопления капитала обрекла на нищету девяносто девять процентов населения. Зато оставшийся процент сказочно обогатила.

Самыми популярными и даже главными словами стали «коммерциализация» и «демократизация», причём потрясали ими те же фигуры, что позавчера ещё носились с коммунистическими ценностями, как чёрт с писаной торбой. Прозрели и умилились. В церкву пошли. И обогатились. Сотнями тысяч рождались и рушились кооперативы, фермерские хозяйства, финансовые пирамиды, частные банки. А народ раскладывал пасьянсы из сотен талонов, начиная от сигарет и кончая носками, тысячами гибнул в очередях за бесталонными коньяком или шампанским, травился спиртосодержащей бодягой и учился из ничего гнать самогон.

Не могли сии метаморфозы обойти и систему просвещения. Николай Иванович Лисин, сменивший на высоком посту Светлану Андреевну

Личанскую, после долгих и мучительных размышлений понял, что сдать в аренду ни квадратного миллиметра площадей он не сможет, поскольку школа закрытая, остановился на производстве. Чего? Неважно. Лишь бы дорого.

Он вызвал к себе начальника учебно-производственных мастерских Уропаева Валерия Игоревича, и они долго обсуждали, выпуском какой продукции можно загрузить станки и детей.

Завод среднего машиностроения — главный заказчик продукции — от услуг отказался, поскольку сворачивал цех ширпотреба. Главпочтамту перестали требоваться конверты.

— Давай, Валера, в машину — и по городу. Ищи заказы. Даже там ищи, где их быть не может. И я свои связи подключу. Благо, не все растеряны.

— Трудно, Николай Иванович, даже невозможно.

— Сидя в кабинете, невозможно, а если подсуетиться, что-нибудь да отыщется.

Но отыскалось совсем не там, где думалось. Валерий Игоревич подсуетился и раздобыл заказ на посылочные ящики, но недорогой и недолгосрочный. Плюс к этому нужно было самим добывать фанеру. Всё это было хлопотно, и овчинка выделки не стоила.

— Ты, Валера, с частниками стыкуйся. Государственные предприятия уже на ладан дышат, а через два-три года совсем загнуты. Вглядишься в историческую перспективу: на пороге презренный капитализм. Информация из самых верных источников.

Верным источником был обком комсомола. Половину своей тяжкой трудовой жизни Лисин отдал служению верным сынам партии, которые уже настойчиво просили папашу дать порулить. Ещё в школе он стал секретарем комсомольской организации и в институте уже на первом курсе вошел в бюро, а на третьем возглавил его.

В школе Николай Иванович не проработал ни секунды, если не считать педагогической практики, а сразу был откомандирован в Ленинский райком на должность заворготделом. Такие вот выборы. Сперва назначили, потом выбрали. Единогласно. И так еще на несколько ступенек выше. Если бы не перестройка, расти бы ему и расти, пусть и не до генсека (а чем черт не шутит?), то до прилично высоких должностей непременно.

Но перестройка случилась, районы в городе ликвидировали, и вечно юный Лисин вдруг в одночасье оказался не у дел. Ему бы отдышаться, осмотреться, выждать малую толику времени, как и делали благоразумные партийно-административные чиновники, но он запаниковал, заметался и в итоге оказался на далеко не самом сытном месте директора спецшколы.

Его предшественница Светлана Андреевна Личанская, вынужденная из-за перевода мужа-гэбэшника в другой регион катапультироваться из уже пригретого кресла, оставила Николаю Ивановичу раздраенный педагогический коллектив и военизированное соединение воспитанников.

Лисин, практически незнакомый с жизнью школы и смертельно задетый карьерами бывших товарищей по партии, переложил все тяготы нелегкой работы на атлетические плечи своих заместителей, оторвал кусок пирога размером в шесть часов у Юрия Викентьевича и зажил боярином, поставленным в отдаленный удел на кормление.

Помогли отыскать прибыльное дело старые знакомцы по комсомольской работе. Некоторые из них, уже отошедшие от комсомольских дел, организовали кооперативы различных профилей, другие руководили банками. За смешные деньги (беспроцентный кредит в свежеиспеченном коммерческом банке) школа приобрела свиноферму в пригородной деревне, ранее принадлежавшую станкостроительному заводу.

На должность командира этой фермы нашелся кумулятивно-пробивной белорус Аркадий с тяжелым отчеством Дормидонтович Целуйко, которого все, даже дети, звали просто Аркаша.

Когда все организационные вопросы были решены и в школьном воздухе явно запахло свежатинкой, Николай Иванович пригласил к себе Диванова.

— Я, Юрий Викентьевич, — сказал он, — чувствую некоторую невольную вину перед вами: все-таки шесть часов нагрузки — это ощутимая потеря в зарплате. Я хочу ее компенсировать.

Юрий Викентьевич пожал плечами:

— Каким образом?

Директор встал, прошел по кабинету, словно обдумывая: с чего вернее начать.

— Вы знаете, что я приобрел свиноферму? — но

поймал удивленный взгляд учителя и поправился. — Школа, конечно.

Диванов кивнул.

— Так вот, я предлагаю вам нехлопотную работу: после обеда с пятью-семью воспитанниками выезжать в Лунозеро. Знаете это прелестное место? — и, не дожидаясь ответа, продолжил. — Вы служили и воспитателем, и режимником — для вас не составит труда проконтролировать детей. Вы сами и будете их отбирать. Надежных, по вашему мнению. Хотя надежных-то у нас и нет. Вы согласны со мной?

Любил Николай Иванович пофилософствовать на эту тему, но Диванов ее не поддержал.

— Оплата? — Юрий Викентьевич задал вопрос, который еще два года назад ему бы и в голову не пришел, но теперь, наученный жестким опытом спецшкольной жизни, не считал его меркантильным.

— Ставка руководителя кружка. Устроит?

— График?

— С пятнадцати до девятнадцати, включая переезды. Суббота и воскресенье — выходные.

— Но это двадцать часов, — быстро подсчитал Юрий Викентьевич, — два часа в неделю переработки.

— Не проблема, мы найдем, как возместить вам эти два часа.

Много позже Диванов погрузился в глубокие аналитические рассуждения, соображая, отчего это выбор пал на него.

2003, май

Макса определили в четвертый класс. В отряде он стал седьмым. Командиром в нем Илюха Петров, но не потому, что был умнее или сильнее других, а потому, что брат его пребывал в седьмом. С Илюхой Макс был знаком по ЦВИНПу*, где Петров карантинил после побега, и даже немного подружился, так что проблем особых у новичка не возникло.

Училка ему сразу понравилась, с Веркой-сердючкой не сравнить: молодая, стройная, в очках с тонкой оправой, она вела уроки легко, не напрягаясь и не напрягая.

* ЦВИНП — центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

— Не знаю, — сказала она внятной скороговоркой после тестирования по математике и русскому языку, — смогу ли я перевести тебя в пятый класс, уж очень много у тебя пробелов... Летом будешь заниматься?

Максим пожал плечами: остаться на второй год с такой суперской училкой — полный отпад.

Четыре стола в классе расставлены дугой, и получалось, что все сидели за первым. Алена Геннадьевна легко переходила от одного ученика до другого, и, когда склонялась над Максом, он чувствовал еле заметный запах незнакомых духов, непонятно волновавших его. Она была из другого мира, неведомого и таинственного, куда его никогда не примут.

А воспиталка была совсем не в кайф. Тоже молодая и, может быть, симпатичная, но крикливая. Мать Максима даже пьяная матом не ругалась, а эта — любой пацан из их тусовки позавидует. Она или сидела в игровой и разгадывала кроссворды, или бегала по спальне, выискивая огрехи в уборке или заправке.

С заправкой как раз у Максима и не заладилось. Одеядло ложилось комковато, а покрывало — косо. Настя Валерьевна (кликуха Сирена) раскидывала постель, и приходилось раза по три ее переправлять. Потом у него уже получалось не хуже, чем у других, но она все равно раскидывала.

— Ты совсем дебильный или прикидываешься? — кричала при этом.

Помог ему Юрий Викентьевич. Он иногда подхалтуривал в их коллективе, подменяя приболевших или просто страждущих.

— Смотри, как это делается.

После его заправки кровать выглядела, как с картинки.

— Как твоё отчество? — спросил Диванов.

— Максим Петрович, а что?

— Для информации к размышлению.

В тот же день Юрий Викентьевич просмотрел Максово личное дело. Всё сходилось: парнишка был сыном его воспитанника Петьки Федосеева.

«Я так и до внуков доработаю», — невесело подумал Диванов.

Но Юрия Викентьевича Макс невзлюбил. Он не смог бы объяснить — почему. Никаких

видимых причин не было. Но если бы сумел себя «скушать», как любил говорить Диванов, то скоро бы понял: этот морщинистый старик часто заходил к Алене Геннадьевне в класс на переменах, и они болтали о чем-то, Макс у непонятном.

После ужина к нему подошел Влад из восьмого.

— Постираешь потники, — сказал он и бросил под ноги три пары носков. Проверка на шивость.

— Я не шестерка, — ответил Макс и отправился к телевизору.

В игровой сидели воспитатели. Коллектив делал вечернюю приборку, от которой новенькие на первую неделю освобождались. По телу Федосеева пробегал озноб. Он инстинктивно понимал, что в эти минуты определяется его место не только в коллективе, но и в школе. Закон джунглей: если ты последний, то каждый может пнуть тебя.

— Тебя Рома зовет, — шепнул сзади Илюха, — иди, не бойся.

— Куда?

— К ним в спальню.

Рома — командир школы, и ему семнадцать лет. Он — исключение. По нормам, воспитанники содержались в школе до пятнадцати. Но Рома — сирота, а его наставником была Лидия Васильевна, завуч, и выпускать «сынка» в детский дом ни за что не хотела. Здесь все-таки под присмотром. И девятый класс закончит. А там и армия, и брожение крови закончится.

Восьмой и девятый были объединены в один отряд — в выпускном классе было всего три воспитанника. Рома сидел на кровати и терзал гитару. Слуха у него не было никакого, но он или не знал об этом, или считал его присутствие не самым главным. Трое пацанов пели вместе с ним.

— На гитаре умеешь? — спросил Рома.

— Немного, — полгода назад отец купил себе новую гитару, старую отдал ему и научил простеньким аккордам.

— На, — командир протянул инструмент, аляповато изукрашенный наклейками с почти не одетыми девицами.

Голосок у Макса тоненький, неоформившийся, но правильный. Он спел «Воровской закон» и вопросительно посмотрел на Рому.

— Потянет, — поощрил тот и спросил: — А Цоя можешь?

Макс неуверенно, путаясь в словах и аккордах, спел «Солнце».

— Дай ему хабарик, — сказал Рома Илюхе. — А потники Владу все-таки постирай.

— Не буду.

— Ладно, иди. Там видно будет.

Макс ждал битья. Ждал до вечерней линейки, ждал после отбоя и особенно нервничал, когда режимники ушли в воспитательскую пить чай. Ничего не происходило, и это усиливало тревогу. Очень хотелось курить, но он все переждал, чувством зверёныша понимая, что сейчас идти в туалет не стоит.

Когда он уже задрёмывал, подошел Илюха.

— Пойдем курнём?

— Я уже, — почему-то солгал Макс.

— Когда?

— Перед уходом воспиталок.

Это был самый бесконтрольный момент в вечерней жизни коллектива: режимники ещё не пришли, а воспитатели заняты их ожиданием. Тут можно было и курнуть, и не шумно отношения выяснить, и побеги зачастую происходили в это время.

Илюха ушел, а Макс закрылся с головой одеялом. Ему хотелось плакать. И в той, свободной, жизни у него не было друзей, и в этой, он это чувствовал, не будет. Жизнь ему казалась безвозвратно конченной, а те два года, что предстояло провести в спецухе, — бесконечными. И мысли о побеге, так часто забредавшие в его воспаленную голову, опять пришли, и под их сладкие видения он уснул.

2002, декабрь

Все оказалось совсем не страшно. Макс дважды тенью проскользил мимо церквушки, но ничего подозрительного не заметил. И в церкви, и за ней — тишина. Благолепие.

А дальше сложилось легче легкого. Стекло снялось бесшумно и без труда. Правда, проём оказался маленьким, и Максусу пришлось снять куртку. Он аккуратно просунул её внутрь, а потом уже втиснулся сам.

В церкви было темно и гулко, но падал улич-

ный свет, смутно освещавший прилавок, где отец покупал свечи. Сердце стучало громко и перебойно. Беззвучно, на цыпочках прошёл он к двери, а там пришлось действовать уже на ощупь. Задвижка отыскалась не сразу, Макс занервничал и начал лихорадочно елозить руками по двери. Как нашел скобу — потом, сколько ни силился, вспомнить не мог.

Отойдя от церкви метров на двести, он настолько успокоился, что ему стало весело. Посскакал на одной ноге, размахивая руками, и едва не закричал, но вовремя осёкся.

— Где шлялся? — заорала на него мать и шлепнула кухонной тряпкой по лицу. — Второй час ночи!

— У Буки видик смотрел. Часов-то у меня нет.

— Куплю я тебе часы, — буркнул отец. — Марш в постель. Завтра чтоб в школу как штык!

На другой день в «Криминальных новостях» местного телевидения долго мусолилось сообщение о краже старинной иконы из Богоявленской церкви. Икона называлась «Троица», и хоть была не рублевского письма, но чем-то знаменита. Журналист объяснял, но Макс не понял. Злодеи знали, что братъ — эта икона была единственной, за которую можно было получить хорошие деньги. При этом называлась примерная её стоимость, но она круто колебалась от пятидесяти тысяч до полумиллиона долларов.

Сообщение массового негодования не вызвало, поскольку затерялось среди других злодейств.

Когда об этом сообщил телеканал «Россия», Макс почувствовал себя супервором и заходил гоголем. Правда, канал уценил раритет до тридцати тысяч и предположил, что кража заказная, поскольку продать её без выхода на коллекционеров сложно.

Отец просёк перемену Максуса настроения.

— Ты вот что, сынок, — сказал он. — Ты забудь про церковь. Как сон, приснилось — и забыл. Утром — ничего не вспомнить. Это... амнезия. Иначе долго мы с тобой на воле не протянем. Усёк?

Макс проглотил слюну и кивнул головой. Но решил виду не показывать — марку держать.

— Это же грех — из церкви икону украсть, или как?

– Невеликий. Замолим. Икона из одного хорошего места перейдёт в другое. Но я сказал тебе – забудь. А вот тебе как обещал, – Федосеев-старший протянул часы – китайскую электронную штамповку.

Максим с кислым лицом защелкнул браслет на запястье.

– А ты думал, я «Ролекс» тебе подарю? – ядовито спросил отец. – Скромненько будем жить, чтобы даже кошка не заподозрила, что у нас деньги есть на сметану. И их не будет, пока я не найду способа их легализовать.

– Чего? – спросил Максим.

– Ну, сделать так, что я их заработал.

Максим запомнил этот урок.

А с другими уроками дело обстояло провально. Его отношения с Веркой-сердучкой, то есть с Верой Васильевной, совсем расклеились. По русскому языку пошли сплошные двойки, и, как он ни бился, выкарабкаться из них он не мог. И всё Федосееву-младшему казалось, что училка придирается к нему, могла бы и тройку поставить, вон у Юльки вчера списал – ей три, ему два. Время шло, но ничего не менялось. А вскоре и в математике перестал соображать.

– Ты тупой, ты совсем тупой! – кричала Сердучка, если Максим не мог разобраться с очередной задачей. – Это из детсадовской программы!

– Ты сама дура! – однажды не выдержал Макс, в ярости забыв отцовские наставления. – Учить не умеешь.

Вера Васильевна выбежала из класса и минут через пять вернулась с директором – мягкой и доброй Людмилой Ивановной.

– Что же ты, Максим, дерзишь и хулиганишь? – голос у директора грудной, почти молочный.

– А чего она объясняет так, что я понять ничего не могу, а требует и дебиллом обзывает.

– Клевещет! – воскликнула Вера Васильевна.

Класс зашумел, расколовшись на две неравные части.

– Врёт! – утверждало большинство, горой вставая за свою горячо любимую наставницу.

– Обзывала! – перекричал всех Толька Букин под одобрение пяти-шести единомышленников и правдолюбцев.

– Тупым, – уточнила Юлечка Свиридова, но её голосок затерялся в общем гаме.

– Успокойтесь, дети, – не повышая голоса, произнесла Людмила Ивановна.

И класс угомонился. Если на ребенка все время орать, он настолько привыкает к этому, что спокойный голос приводит его в смятение и растерянность, а пониженный – почти в шок.

– Максим, пойдём со мной, поговорим, – и когда Федосеев подошёл к директорисе, завершила. – Продолжайте урок, Вера Васильевна.

Два долгих разговора состоялись в тот день в кабинете Людмилы Ивановны. Один – с учеником, другой – с учительницей. Что и как было сказано – осталось за дверями кабинета директора, но никаких карательных мер не предпринималось, и в четвертом «В» наступило затишье. Временное.

– Ну вот, можешь, когда захочешь, – едва ли не впервые похвалила Макса Вера Васильевна, проверив домашнее задание по математике.

Но русский по-прежнему не давался. Он делал ошибки даже в написании ударных гласных.

А тут еще свалилась новая беда – компьютерные игры. Первый наркотик из череды очень многих. И не так уж и безобидный.

Максим пару раз молил отца купить ему компьютер, но у Петра была одна отговорка – рано ещё.

И тогда отрок вспомнил о своих тысячах. Он вытащил из заначки две сотенных и направился в клуб. Этот поход был первым, но не последним. Максим долго присматривался, а когда сел за машину – уже не чувствовал себя новичком. Начал с «Героев меча и магии», но ему это быстро надоело, скоро освоил «Боевое ралли» и завис на «Акселерате» и «Орионе Бургере». Он ни разу не прошел трассу без аварий в первом и не одолел всех тестов во втором. Выходных дней не хватало.

«А, фигня, – думал он, – ну, пропущу парочку уроков».

Через неделю Макс перестал ходить в школу.

1979, июль

Когда, тихо урча, улеглось чувство новизны и служба покатила если и не по асфальтовой, то, верно, по бульжной, Диванов окон-

чательно убедился в том, о чем подозревал и ранее: основную головную боль причиняли не малолетние преступники, а призванный их исправлять и направлять взрослый контингент. Не весь, конечно. С учителями он контактировал мало, да и те держались кастово: если не отчужденно, то замкнуто, никого не впуская в свой круг далее границ, определенных сложившимся этикетом. С воспитателями следовало себя держать настороже. За внешней благорасположенностью и даже долей панибратства зачастую припрятывалась позволяющая выжить способность с легкостью переложить ответственность за огрехи и промахи на спортивные плечи дежурных по режиму. Воспитатели — тоже каста, но рангом пониже учительской и чуть более демократичная. Они дико завидовали учителям и за барский график работы, и за меньшую степень ответственности, и за кастово-аристократическую замкнутость. Но более всего хлопот доставляла родная режимная служба. Диванов исподволь чувствовал, а заступив на место старшего дежурного, понял, что любая руководящая должность — не для него. Разве что директором Советского Союза. Там за все отвечает История. А как совладать с двумястами слабоуправляемыми мальчишками и двадцатью еще менее управляемыми режимниками, имея не слишком волевою натуру, — представить можно только теоретически. После историй с Мышаковым и Студентом Диванов решил выковать в горниле своей души необходимую командирскую твердость, ноковка шла медленно. Иногда он жалел, что перевелся в старшие. Материальная надбавка в десять рублей не компенсировала моральных затрат.

Вот и сегодня дневной дежурный Соломенников переживал очередную засуху. Это бы еще было терпимо, но, наверное, в его хозяйственной сумке образца 1948 года китайский термосочек хранил чай, слегка разбавленный водкой. Или наоборот. Глаза к десяти часам из мутных стали матовыми, а к одиннадцати, когда три отряда направились на работы в совхоз, заблестели.

— Ты как, нормально? — спросил Диванов, покуривая на крыльце, и попытался придать голосу начальственные ноты.

— Не мочись в чулок.

Ни в грош не ставит. Да и бес с ним: и Гусев, и Каратаев звука не проронили, а ему больше надо? О принципы можно зубы сломать, если эти самые принципы излишней твердости.

Прелюбопытнейшая личность этот Соломенников. Он за всю жизнь ни разу не нанимался на работу. Он устраивался. И всегда туда, где теплее. И сытнее. Конечно, сытной должность дневного дежурного по режиму не назовешь, но — теплая, ни к чему не обязывающая и совершенно безответственная. Он послужил прапорщиком на армейском продовольственном складе, проворовался, был переведен на вещевой, и там его поймали за руку, но тихо-мирно уволили по истечении срока контракта. Не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался. Недаром еще во времена былинные Суворов призывал ставить к стенке после двух лет службы всех интендантов без суда и следствия.

— Ладно, бдите, товарищ старшина, — Диванов полупрезрительно зашвырнул окурок в урну и направился к стадиону: там развлекалась основная масса воспитанников. Не серая масса.

Погода установилась почти комфортная: легкие облака, словно фатой, прикрывали солнце, не было жарко, и ничто не намекало на дождь.

Два десятка пацанов поднимали пыль в центре футбольного поля, Боб Михеев на спор, лёжа, отжимал штангу, собрав вокруг себя толпу болельщиков, за лиственничной аллеей резвились баскетболисты, а на волейбольной площадке Полина Алексеевна Ветрухина с двумя восьмиклассниками сражалась с полнокровной сборной школы. Залюбовался ею Диванов. Выпрыгивала высоко, что было удивительно при ее внешней пышнотелости, мяч впечатывала, в защите была расторопна и хороша. Идиллическая картинка. Не закрытая школа, а мечта любого родителя.

Сет закончился в пользу Полины Алексеевны. Она устало плюхнулась на скамейку и достала полотенце.

— Я любовался вами, — в голосе Диванова не было комплиментарности. — Вполне профессионально.

— Да брось ты, Юрочка! Лет десять назад посмотрел бы. Я же в сборную «Буревестника» входила. Эх, под душ бы сейчас, — закончила мечтательно.

— Бегите, — предложил околдованный Диванов. — Только быстренько. Я за вашими присмотрю.

Конечно, делать этого не положено, но женщина не должна пахнуть потом, и Хаджи где-то в отлучке.

— Серьезно? Вот бы не подумала. Я мигом.

Отсутствием шефа воспользовались Галина Павловна и Ирина Петровна: уселись на скамейку и защелкали, решая неотложные проблемы вселенского толка. Диванов, выдерживая строгую начальственную вальяжность, прошел вдоль забора, примыкавшего к стадиону, и в высокой траве обнаружил Колю Морозова с сигаретой. Воспитанник испуганно вскочил, выплюнул окурочек, но тот предательски прилип к нижней губе

— Покуриваем? — строго спросил Диванов.

— Я еще не курю, Юрькеньтич, — глаза синие, круглые, и голос исполнен пионерской честности.

— Окурочек-то выплюнь — врать мешает.

Рука дернулась к подбородку, нервно содрала коварный вешдок, и Коля пробурчал:

— Не пойму, откуда взялся. Наверно, прилип, пока лежал.

— Бывает, — согласился Диванов. — Пошли.

— Куда?

— За мной, мой юный друг. Вперед на мины.

Они подошли к Ирине Петровне Бодаевой.

— Пойман с поличным. Пусть напишет объяснительную.

— Он же не курит, Юрий Викентьевич, — возмутилась воспитатель.

— Или не попадался ушлый малый, — решил не сдаваться Диванов. — Пусть уж лучше у вас напишет, чем на проходной. Я все сказал.

И снова пошел наматывать круги по стадиону. Ирина Петровна что-то крикнула вслед, но старший дежурный до реакции не снизошел. И напрасно.

Вернулась посвежевшая Полина Алексеевна.

— Спасибо вам, Юрий Викентьевич, — и Диванов не сразу разобрался в переходе с демократического Юрочки на официальное имя-отчество. Туго шевельнув серым веществом и оглядевшись, сообразил — рядом директор собственной персоной.

— Как служба? — пробаритонил Сергей Сергеевич.

— В норме. Пока без ЧП.

— Хорошо, что в норме, плохо, что пока. Вы Ирину Петровну чем разозлили? Налетела на меня, как тайфун на Японские острова, кричит, что вы цепляетесь к Морозову Коле. Я ничего не понял.

Диванов в кратких словах набросал ситуацию.

— Вот и ладненько. Доведите дело до ума. И не наживите в лице Бодаевой, — Каратаев весело взглянул на Полину Алексеевну, — злейшего друга. Колька — ее любимчик. Все. Меня нет. Я умер.

Директор был в отпуске, начальствовал в лагере Мамедов, но Каратаев через день-два нагрядывал поглядеть, как без него агонизирует коллектив.

— И сообщаю вам приятнейшее известие: завтра уезжаю в Крым, в Алушту. Не скоро увидимся, — это уже почти крикнул издали.

Его ирония была напрасной: директорская авторитарность воспринималась гораздо мягче замовского деспотизма.

После обеда, в так называемый тихий час, когда детишки-шалунишки должны были лежать по коечкам смиренно с умными книжками в руках, на проходную вкатилось обиженное самолюбие — Ирина Петровна.

— Вот объяснительная Морозова и моя докладная, — она стукнула кулачком с бумагами по столу, развернулась и ушла — веером подол — прямая и осерженная.

Диванову читать было неохота и некогда: надо было покурить перед тем, как лагерь начнет строиться на пляж, — и он отложил увлекательное чтение на вечер. И опять напрасно.

Интересное дело: легче легкого было пуститься в побег во время похода на пляж. Трудно, да что там трудно — невозможно проконтролировать всех и каждого в сутолоке городского собрания обнаженных, похожих друг на друга тел. Но вот он парадокс — за все лето, за все минувшие лета — ни одного побега! А впрочем, все очевидно. Все понимают, что в случае любого инцидента выход на пляж будет закрыт, и актив лагеря бдил так, как взрослым при самом горячем усердии не работать.

Вот и сегодня — все пристойно, прилично, бесказуно. Вернулись почти к ужину, досмотрелись на проходной, разбрелись по спальням — утомленные.

И для Диванова подкрадывалось время отдохновенного блаженства. Еще час, и он заметит на проходной дремлющего за столом Соломенникова.

К Диванову подплыл Хаджи Саидович.

— Дарагой, что за бумажки у вас на Морозова? Какая-то филькина грамота. Мне не его — вас наказывать надо.

— Я не успел прочесть.

— Дак пачитайте. О-чень увлекательно.

Диванов бросился на проходную, с трудом толковал бестолковообразному Соломенникову, что ему нужно, схватил листы и — бегом в спальня корпус. Сел у входной двери. Ребятки на ужине. В вестибюле гулкая тишина. Дважды прочел Колину объяснительную, рассмеялся, задумался. Прочел докладную Бодаевой — погрустнел.

Из сих документов вырисовывалась невеселая картинка, будто он, старший дежурный Диванов, после того, как Николай Морозов сбежал от него в поезде, стал мелочно и беспричинно придирается к воспитаннику по поводу, а чаще без оного, а Коля Морозов не курит, он дал слово перед отрядом, а некоторые взрослые ведут себя антипедагогично, ибо недоверие и придирки разрушают хрупкое здание добпорядочности, которое она, Ирина Петровна, не жалея сил и не покладая рук, неустанно строит в душах детей.

Если бы дело касалось не его, Диванов, пожалуй, хохотал бы до слез, но сейчас уместнее слезы до хохота.

Диванов описал свой вариант происшествия, лукаво подвернув под ситуацию директора. Нет, он не упоминался как свидетель конфликта, просто присутствие начальства в рассказе придавало ему некоторую увесистость.

— Напишите докладную, — потребовал Мамедов, — рассказ к делу не пришьешь.

Точка была поставлена через полчаса: начальник оздоровительно-трудового лагеря «Романтик» Хаджи Саидович Мамедов объявил Морозову выговор, а его воспитателю — замечание. За слабинку контроля.

Начали подтягиваться режимники. Паша Островский сменил Диванова в спальном корпусе. Соломенников спал в комнате отдыха. «Хорошо, что постельное не перестелил, — подумал Диванов. — После этой хронитурки хоть дезинфекцию производи».

— Вставай, работяга, — тронул утомленного за плечо.

В ответ — два мата, переходящие в бормотание.

— Да пусть вздремнет, — пожалел усопшего Саня Кувалдин. — Воспитатели слиняют — разбудишь. Он и сам проснется — за добавкой.

Диванов махнул рукой.

Еще утро, глянув на график, он поморщился — аховая смена, но, встретив полные сил и энергии, излучавшие оптимизм самодостаточные тела коллег, успокоился — ничто беды не предвещало.

Попрощались воспитатели, ушел, сделал наставления на ночь, Хаджи Саидович, очнулся Соломенников и, уточнив время, включил форсаж — только тень мелькнула за окном.

Все: тишина, покой, блаженство.

Он заполнил строевки, позвонил в пожарную часть.

— Восемьдесят восьмая спецшкола. Сто двадцать семь воспитанников. Пятеро взрослых. Передал Диванов.

— Принял Кудеев, — услышал в ответ и подумал, что почти всегда попадает к этому пожарному.

Теперь выпить бодрящего чайку, неторопко перекурить и можно всласть, врястяжку поспорить с Гумилевым на предмет пассионарных зон. Ученый считал, что войны, революции, скачки научных и технических открытий обусловлены своеобразным излучением, которое вызывало генетическую мутацию в природе человека. В результате рождались люди с повышенной жизненной и интеллектуальной активностью и якобы начинался бурный процесс этногенеза. Мол, на эти процессы влияют радиоактивные реакции в толще земли, солнечный ветер, изменение химического состава среды. Плохая экология, как сказали бы сейчас. Не верил Юрий Викентьевич доктору двух наук, поскольку ни одна гипотеза не объясняла периодов, кратных 250 годам пассио-

нарных толчков. Кроме разве космического облучения. Но корпускулярные потоки из галактических просторов облучают всю поверхность Земли. Ни о какой узкой полосе речи быть не может.

Диванов закрыл окно (достаточно проветрил, а уже зазвенели комары) и вышел в июльские сумерки. Свет в спальнях уже погашен, горит дежурное освещение в игровых. Тишина. Он медленно прошел вдоль спального корпуса в оба конца и вернулся на проходную.

Читал, вчитывался, перечитывал. Соглашался и спорил. Выписывал цитаты в специальный блокнот. Но беспокойно было где-то в ливере. Взглядывал на окна спального корпуса, на часы, но ничего не происходило. Да и что могло произойти в этом уснувшем мире?

Но предчувствие оказалось провидческим. После полуночи, когда Диванов собирался сделать обязательный обход, вдруг оглушительно хлопнула входная дверь спального корпуса и на улицу вывалились все режимники. Все! Пьяные в лоск, руками размахивающие и кричащие. Известно, пьяный думает, что говорит шепотом, а слышно на соседней улице.

Диванов похолодел. Ну сколько еще приключений на его многотерпеливую задницу? Великолепная четверка остановилась, яростно жестикулируя и иерихонским криком что-то выясняя.

— Вы что, мужики, офонарели? — попытался перекричать их Юрий Викентьевич.

На него обратили не больше внимания, чем на школьную дворняжку Жульку, заискивающе жмущуюся к ногам.

Сыр-бор, как выяснилось, был спортивного толка: Кувалдин и Фролов выясняли, кто из них боксер высшего ранга. Оба в давешние времена занимались, высот не достигли и решили определиться сейчас.

— Да что вы все языками машете? — подзуживал Стас Железняк. — У вас что, рук нету?

Паша Островский держал за шнуровку две пары перчаток.

В окнах нарисовались портреты воспитанников.

Остановить бой века мог только катаклизм городского или даже планетарного масштаба.

— Сейчас же прекратите! — заорал Диванов,

хватая то одного, то другого за руки. — Отстраняю вас от работы! Докладную пишу!

— Отстань, Викентьевич, — рявкнул Кувалдин и выхватил у Пашки перчатки.

— Все, — перешел на спокойный тон Юрий Викентьевич, — звоню Гусеву, а в графике — всем по кружку.

Кружок означал невыход на работу.

— Да брось ты, Юрок, — попытался умиротворить ситуацию Железняк. — Два раунда по две минуты — и по койкам.

— Ты на кого, сука, голос поднял? — Кувалдин переключился на Диванова. — Да я с пробором на твоего Гуся.

И пошел, набычась.

Пашка Островский его сзади обхватил за талию и оторвал от земли.

— Кончай, Саня, завязывай.

Тот ногами сучил и матерился.

Фролов продолжал сосредоточенно натягивать перчатки. Перепалка приятеля со старшим дежурным пролетела по касательной, не задев жизненно важных органов.

Саня Кувалдин еще подергался больше для понта, но Пашина хватка парализовала и без того не хрустальное сознание.

Стас подхватил под руку взъерошенного Диванова.

— Пойдем, командир, на проходную, перетолкуем.

Диванов позволил себя увести. Давление подскочило — лицо цвета государственного флага готово было закипеть.

— Ты посмотри на окна, — уже на крыльце сказал Диванов. — Завтра разговоров будет вагон с тележкой.

Железняк оглянулся.

— Не хлопочи, командир. Ни звука не просочится. зуб. Не веришь? Спорим на смену. Не хочешь? То-то. Проиграешь. Меня пацаны в век не заложат, — голос был пьяно авторитетным.

— Ладно, растаскивай свою кодлу по коллективам. Утром посмотрим. В шесть часов всех подниму.

Поле боя по последней фразе оставалось за ним. Бойцы противной стороны не сразу, после некоторых переговоров с парламентаром, но двинулись по рабочим койкам.

Вздremнуть в эту ночь Юрию Викентьевичу не удалось. Унылые мысли, почти депрессивные, сменяли одна другую, не успевая сколько-нибудь оформиться. Он до дрожи в теле жалел о переходе в старшие дежурные, решал завтра же уволиться, плевался на свой бесхребетный характер, переключался на туманные теории Гумилева, мысленно переругивался с женой и снова возвращался к своим дебильным боксерам.

Никакое решение не выстраивалось, термос опустел, и кончились сигареты, которые всегда брал с запасом.

1991, апрель

Свиноферма была устроена по высшему разряду, как уразумел Юрий Викентьевич. Российскому, конечно. Правда, сравнивать ему не с чем, поскольку если он и видел предприятия для выращивания мяса, то только по TV, но безграничная вера в средства массовой информации осталась в далеком розовом и безвозвратном прошлом.

Работа, как и предрекал директор, оказалась не пыльной, но не до конца понятной.

— Аркаша, — спросил он на другой день хлявного труда, — у тебя же и кормораздатчик, и транспортеры для уборки навоза. Отчего стоят? Поломаны? А водопровод?

— Просто такая арифметика: электричество дорогое, а руки бесплатные. Маракуюшь? Водопровод делать надо, две трубы заменить. Дело плевое, но денег пока нет. Тебе же лучше: если я все аппараты запущу, так на фига мне твои пацаны? Возьму одного оператора — и дело с концом.

Диванов решил, что хозяйство — не его ума забота, и успокоился. Он отвечает за дисциплину.

А пацаны прямо дрались за место в бригаде свинаярей. И ничто их не отпугивало: ни смрад, ни тяжелые носилки с нечистотами, ни не более легкие ведра с водой.

Хозяйство было не из слабых: сто пятьдесят свинаярей на откорме, двенадцать свиноматок и два хряка. Отдельно, в бывшем красном уголке, стояли три коровы — молоко для будущих трехнедельных поросят.

Команда сложилась уже через две недели. Любители посачковать отсеялись, жаждущие чем-нибудь разжиться поняли — непруха, и остались те, кому важен был воздух свободы, пусть и со специфическим запахом. Возили их школьным «пазиком», чем хмурый водитель был очень недоволен: шла переработка, за нее не платили, поскольку день ненормированный, но добрейший Аркаша обещал компенсировать издержки мясом. Он многим это обещал, и если бы вдруг выполнил все свои обеты, свиноферма вмиг бы опустела. Еще пришлось бы прикупать.

Бригадиром Юрий Викентьевич назначил Славку Стихеева и не ошибся: тот и сам пахал, и другим не давал прохладяться.

Аркаша по ферме ходил гоголем, свинаярей на откорм называл Мясом, а свиноматок — Машками. К ним он относился уважительно. Хряки у него были Борьками.

— Это в честь Ельцина, — сказал он и сплюнул неуважительно.

На дойку приходила пожилая женщина из деревни, и Славка с первого дня прилепился к ней.

Юрия Викентьевича это насторожило.

— Ты, юнкер, не ошибся адресом? Она тебе не в мамыши — в бабки годится, — хоть в Советском Союзе не было секса, в школе сексуальный вопрос стоял наиострейше.

Стихеев — парнишка взрывной. Четырнадцать лет, а нервы ни к черту. Если что поперек — не было для него ни возраста, ни пола, ни авторитета. Катаклизм, но быстротечный.

— У вас совсем крыша съехала? — на «вы» спросил, и то спасибо. — Я хочу всему научиться. Выпущусь, дома ферму заведу.

И все слова на надрыве, на крике.

Диванов поверил и успокоился.

Кроме Аркадия Дормидонтовича и доярки, на окладе были еще два деревенских мужичка. Они варили кашу в кормоцехе и трижды в день на тележке развозили её по кормушкам.

Стихей, если станет фермером, хозяином будет исправным.

— Юрий Викентьевич, — сказал он громко, в упор глядя на мужичков, — а эти работнички комбикорм тырят.

— Ты чо городишь, чо городишь? — взъерепенился один из них: росточка небольшого,

но сбитый крепко. — На хрен мне ваш комбикорм, у меня и животины нету.

— Ты пацана моего не заводи, — вмешался Диванов, — он, если заведется — мало не покажется. А ты, Славка, точно знаешь?

— Куда точнее! Сам видел, как в мешки затащивали и вытаскивали в коридорчик, где коробки из-под витаминов.

— Ах, ты паскуда! — второй выскочил из-за спины с деревянной лопатой наперевес.

— Стоять! — голосом тюремного попкаря крикнул Диванов и оглянулся: за ним выстроились остальные ребята.

Минута была решающей — драки нельзя было допустить ни в каком разе, поскольку виноватым при любом раскладе останется он.

— Значится, так, мужики, — сбавил обороты Юрий Викентьевич, увидев, что лопата прекратила поступательное движение, — связываться с милицией вам надобности особой нет. Нет? Кражу никто не докажет, и не будут менты дело на такую мелочевку заводить, а вот с лопатой на малолеток — это посерьезнее будет. Статья крутая нарисуеться, лет на пять-семь, если, конечно, без последствий. Давайте решим спокойно: вы идёте докармливать, а мы комбикорм из коридорчика, если он там, перенесем на место.

— Да пошли вы! — мужичок швырнул лопату под ноги Юрия Викентьевича и затопал к выходу. — Сами кормите.

А пацанам что? Кормить так кормить. С гиком покатили тележку. И два мешка комбикорма из коридорчика перенесли.

Как ни странно, Аркаша разоблачению мужичков не зардовался, а даже закручинился.

— Ты погорячился, — сказал он Диванову. — Где я работников найду? Этих-то днем с фонариком искал.

— Найдешь, Аркадий Дормидонтович. Полдверни без дела болтаются. Ты им много платил?

— В том-то и дело, что пока несколько. У нас денег-то — ноль целых фиг десятых. Думал, пойдет забой — будут деньги. А до него еще месяца три. И Машки, хоть и супоросные, — Аркаша беззвучно пошевелил губами, — но до первых поросят — недель пять. Эх, взвалил я себе обузу.

— Получается, ты с ними комбикормом

расплачивался? Новомодный бартер: они тебе труд, ты им — поклевать?

— Да нет, просто глаза закрывал, но учет вел. Приблизительно. Каждое зернышко не просчиташь.

«Темное это дело, — подумал Юрий Викентьевич. — Ведь здесь Клондайк: и комбикорм, и поросята, и мясо-сало. Кто Аркашу проконтролирует? Не верю я в его беззаветную честность. Кто громче всех кричит: я честный, на поверку оказывается вором, каких свет не видывал».

Подумал, но ничего не сказал. Мысль изреченная есть ложь. Мудро, хоть и неверно. Неизреченная, пусть даже внутри себя, вообще не мысль.

Теперь Диванов за неимением времени съездить домой обедал в школе. И недорого, и калорийно. Иногда даже вкусно. Н-да, не все детишки на воле могут так питаться.

— Нельзя ли мне сынишку в спецшколу определить? — спросил директора за обедом.

— А что так? Хулиганит?

— Нет. Его родители куда как хуже питают.

И в этом была толика истины. Система талонная не давала возможности каждый день намазывать хлеб маслом, а сверху прикладывать увесистый кружок колбасы.

— В верхах, — Николай Иванович указал вилкой в потолок, — строят планы открытия у нас отряда для девочек. Якобы накладно отправлять принцесс в другие регионы. Девчочковых школ в Союзе раз, два — и обчелся. Если так решится, года через полтора будем спецшлы открывать, — и засмеялся.

— Вы серьезно?

— Некуда серьезнее. Мне Аркаша на вас пожаловался, — без паузы переменял тему Лисин. — Будто вы в производственный процесс вмешиваетесь, а сами в нем некомпетентны.

Диванов отложил компот, бегло обрисовал суть проблемы и с некомпетентностью согласился.

— Тут что важно, — закончил он, — Сашка Стихеев сам вор, но как встал на защиту школьных... ценностей.

— Да-а? Я с вами согласен, — протянул директор. — Меня Аркаша немного иначе информировал. Вы с теми же ребятами сегодня выезжаете? Всегда одна бригада? Я бы хотел

Стихеева на недельку отстранить — у него с учебой не все в ладу.

— Не знал, — удивился Юрий Викентьевич, — но обещаю: он хвосты обрубит. А там он не заменим. Моя правая рука. Иногда и левая.

В Диванове проснулся ревизор. Он раздобыл справочники по уходу и кормлению свиней. Теперь ему несложно посчитать суточную норму кормов на все стадо, но невозможно определить расход, не имея накладных на завоз комбикорма, хотя определить, сколько необходимо было доставить, не составляло труда. Документы Аркаша хранил в сейфе и никогда не оставлял на столе, что еще больше разжигало любопытство.

Ох, и смеялся над ньюживотноводом Эрик Калугин!

— Время бунтарей свернулось! Ты теперь и фермер, и ревизор. Прав был Владимир Ильич! Если кухарка может управлять государством, то отчего ж учителю истории не поуправлять фермой?

— В точку, — серьезно ответил Диванов. — Хватит раскатывать камни, пора их собирать.

— Может быть, — встал в позицию Эрик Матфеевич, — и наш клуб больше не нужен? И библиотека?

— Ты сказал.

— Да поймите вы, сударь, демократия ещё отнюдь не победила! Хоть и нет шестой статьи

Конституции, но всё кругом партийное, всё кругом её. Ведь как мы хотели выпускать нашу газету в типографии, пусть не городской, пусть в самой паршивой бланочной — нас куда отправляли? Правильно, в обком. А тот куда? Еще подальше! Все эти Крючковы, Язовы, Баклановы переродились? А твой любимый Горбач? Хоть он от литовской крови отмежевался молчанием, но она на его совести...

Таким взъярённым Диванов приятеля еще не видел. Даже бородака его негодовала — потряхивалась, и в глазах проявились красные прожилки, и длинные нервные пальцы барабанными палочками обстукивали столешницу.

Много позже, вспоминая этот разговор, он изумлялся: с чего это, с какого предвидения Калугин перечислил будущих гэкачепистов.

— Да брось ты, Эрик, — испугался Юрий Викентьевич. — Я совсем не это имел в виду...

А что имел, Диванов и сам не знал. Не был он Шивой. Только в пионерском детстве пел со всеми «мы старый мир разрушим до основанья», но сейчас, сказав несколько лет назад А, нужно было сказать Б.

(Продолжение следует)

□

Алексей ЛИВАНОВ

родился в деревне Крошнозеро

Пряжинского района Карелии.

Окончил Петрозаводский государственный университет.

Преподавал в школе.

Публиковался в поэтических сборниках:

«Трилистник», «Я волю дал любви», «Волны трав»,

в журнале «Север».

Живёт в Петрозаводске.

